

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Изображение людей в летописи XII—XIII веков

Каждый, кто решит поискать в древнерусских летописях изображение живых русских людей, создававших историю Руси, и подойдет к этому с мерами и запросами нашей современной литературной культуры, неизбежно испытает некоторое чувство разочарования. Он не увидит в летописи реалистического изображения людей, не увидит в ней народа, который творил русскую историю.

Чтобы по-настоящему представить людей Руси XII—XIII веков, надо проникнуть в самую художественную систему летописи, надо понять мировоззрение летописца, его человеческие идеалы и его реальные возможности литературного творчества. Эта система, это мировоззрение, эти идеалы и возможности были совсем отличны от современных, были очень далеки от реализма, но они отнюдь не были примитивны. Изображение людей в летописи было подчинено своей и очень сложной системе, оно свидетельствует о своеобразной литературной культуре. Летописец смотрел на людей далеко не „простым глазом“. Его глаз был вооружен особой „оптической системой“, которая вводила изображаемых им людей и их поступки в его оценочные суждения, подчиняла их его идеалам — идеалам его времени и его класса. Коль скоро мы изучим эту художественную систему, для нас станет ясным и тот „угол отклонения“, те поправки, которые неизбежно следует вносить в летописные изображения, чтобы составить себе представление о действительных людях. Вместе с тем летопись вызовет в нас истинное восхищение своеобразием средств художественного обобщения.

Данная статья — только попытка подойти к раскрытию этой системы. Она охватывает XII—XIII века — время, когда более всего устоялись определенные художественные средства в изображении людей. Мы берем именно летопись как ведущий жанр этого времени. В одной из последующих статей мы обратимся к изображению людей XI века, в другой — XIV—XVI веков. Изображению людей в исторической литературе начала XVII века нами посвящена уже особая статья.¹

Изучение художественной системы изображения людей и тех изменений, которые эта система испытала, поможет нам уяснить долгий и трудный путь к реализму, который прошла русская литература более чем за девять веков своего существования.

Образы людей в летописи не могут быть отделены от ее идейного и художественного строя. Характеристики людей, характеристики люд-

¹ Д. С. Лихачев. Проблема характера в исторических произведениях начала XVII века. Труды ОДРА, т. VIII, 1951.

ских отношений и идейно-художественный строй летописи составляют неразрывное целое. Они подчиняются одним и тем же принципам феодального миропонимания, обусловлены классовой сущностью мировоззрения летописца.

В своем отношении к историческим событиям летопись официальна. Ритм истории в летописи — это ритм официальных событий. Связь между событиями также всегда официальна. История для летописца не имеет „второго плана“ — скрытой экономической или даже просто психологической подоплеки. Князья поступают так, как они сами об этом объявляют через послов или на съездах. Если они и обманывают, то мотивы их обмана также на первом плане, за ними не кроется причин иного рода, чем те, о которых они сами заявляют или могли бы заявить. Летописец не заносит в свои записи событий частного характера, не интересуется жизнью людей, низко стоящих на лестнице феодальных отношений. Попасть в летописные записи — само по себе событие значительное. Летописец пишет только о лицах официальных, распоряжающихся судьбой людей; при этом частная жизнь этих официальных людей летописца не интересует. Если он и пишет о рождении детей у князя, об их свадьбах и пирах, то потому только, что всё это официальные события в жизни княжества — события „династического порядка“.

Человек был в центре внимания искусства феодализма, но человек не сам по себе, а в качестве представителя определенной среды, определенной ступени в лестнице феодальных отношений. Каждое действующее лицо летописи изображается только с той его стороны, с которой оно характерно как представитель определенной социальной категории. Князь оценивается по его „княжеским“ качествам, монах — „монашеским“, горожанин — как подданный или вассал. Личность князя подчиняет себе события, интерес к князю поглощает интерес к событиям народной жизни. Каждый человек представляет для летописца свою ступень в феодальной иерархии. Всё общество состоит из „лестнично“ расположенных над простым, трудовым народом различных групп феодалов. Все людские отношения подчинены этой иерархии вассальных связей. Этот иерархизм дает себя сильнейшим образом знать и в летописи, и в других литературных произведениях.

Принадлежность к определенной ступени феодальной лестницы ясно ощутима в характеристиках действующих лиц летописи. Для каждой ступени выработались свои нормы поведения, свой идеал и свой трафарет изображения. Индивидуальность человека оказывалась полностью подчиненной его положению в феодальном обществе, и изображение людей в русской летописи XI—XIII веков в сильнейшей степени подчинялось тем идеалам, которые выработались в господствующей верхушке феодального общества.

Эти идеалы ясно определимы. Их несколько, и они очень четко обозначены социально. Идеальный образ князя — один, идеальный образ представителя церкви — другой. Слабо намечены идеалы боярства — „бояр думающих“ и „дружины хоробрствующей“. В основном два идеальных образа доминируют в жизни, а вслед за нею и в литературе: светский и церковный.

Это не идеализация человека, это идеализация его общественного положения — той ступени в иерархии феодального общества, на которой он стоит. Человек хорош по преимуществу тогда, когда он соответствует своему социальному положению или когда ему приписывается это соответствие (последнее — чаще).

Выработавшиеся в жизни и игравшие в ней значительную роль, эти идеалы повлияли и на письменность. Умерших, а иногда и живых, литература (в первую очередь летопись и жития святых) стремится изобразить в духе этих идеалов (если она сочувствует изображаемому) или показать их несоответствие этим идеалам (если она не сочувствует изображаемому). Этим обуславливается относительная бедность характеристик действующих лиц летописи и житий. Но этим же обуславливается и точное соответствие характеристик нуждам господствующего класса феодального общества.

Идеалы не всех ступеней иерархической лестницы равноправны. В светской области наиболее отчетливо определился княжеский идеал. Герои летописи по преимуществу князья, ибо их действия, как мы уже сказали, с точки зрения летописца, составляют суть исторического процесса. Вот почему княжеский идеал — наиболее разработанный светский идеал.

Характеристики духовенства в летописи — монахов, епископов, митрополитов, белого духовенства и людей просто благочестивых — целиком подчиняются идеалам церкви.

Особую группу составляют „святые“. Внешне они не входят в систему феодальных отношений — светских и духовных — и не принадлежат крестьянству. Они как бы внесословны. Они вышли из жизни, но встали над ней — между земным и божественным. Трафареты в их характеристиках иные, они целиком зависят от общехристианской литературы — своей, местной и переводной. В святых подчеркиваются их странности, отрешенность от мира и его интересов.

* * *

Изображение людей в строгом соответствии с иерархией феодального общества имело свои глубокие основания в самом строе феодального общества и в потребностях верхушки этого общества сохранить этот строй, удержать за собой господствующее положение.

Феодальная собственность являлась собственностью сословной. Вся земля принадлежала только феодалам. „Подобно племенной и общинной собственности, и она также покоится на коллективе, которому, однако, противостоят в качестве непосредственно производящего класса не рабы, как в античном мире, а мелкие крепостные крестьяне. Вместе с полным развитием феодализма появляется и антагонизм против городов. Иерархическая структура земельной собственности и связанная с ней система вооруженных дружин давали дворянству власть над крепостными. Этот феодальный строй, как и античная общинная собственность, был ассоциацией, направленной против поработленного, производящего класса, но форма ассоциации и отношение к непосредственным производителям были различны, ибо налицо были различные производственные условия“.¹

Иерархический характер земельной собственности обуславливался тем обстоятельством, что в обществе „политическое положение определялось размерами землевладения“² — собственность на землю соединялась с политическими правами. На этой основе вырастала вся сложная иерархия взаимоотношений феодального общества между его отдель-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Немецкая идеология. Сочинения, т. IV, Партиздат, М., 1937, стр. 14.

² Ф. Энгельс. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Госполитиздат, 1952, стр. 179.

ными членами. Иерархия есть идеальная форма феодализма; феодализм — политическая форма средневековых отношений производства и общения.

Идеологическая надстройка призвана была в феодальном обществе охранять и укреплять эту феодальную иерархию. В связи с этим вырабатывается понятие феодальной чести. Над сложной иерархией политических отношений вырастает не менее сложная иерархия чести.

Уже в Русской Правде размер наказаний изменяется в зависимости от положения пострадавшего, от того, на какой ступени феодальной лестницы он находится, причем защищается прежде всего честь пострадавшего, его достоинство.

Согласно „Правде“ Ярослава различались побои в зависимости от того, чем они нанесены, причем за более опасные удары мечом и ранение пальца взыскивалось 3 гривны, а за удары менее опасными предметами (палкой, жердью, тыловой частью меча, ножнами меча) в четыре раза больше — 12 гривен. Это объясняется тем, что последние удары были более оскорбительными, выражая крайнее презрение к оскорбляемому.

Если обиженный попытается смыть нанесенное ему оскорбление и обнажит меч, то такого рода действие ненаказуемо. В Пространной Правде говорится: „Не терпя ли противу тому ударить мечемъ, то вины ему в томъ нетуть“,¹ „Аже ли кто вынет мечъ, а не утнетъ, то гривна кун“,² „Аще ли ринеть мужъ мужа, любо от себе, любо к собе, 3 гривне“³ и др.

Классовое расслоение общества сказалось также и в церковном уставе Ярослава Владимировича. Здесь особо оговаривается оскорбление жен великих и меньших бояр, градских и сельских людей. Оскорбление словом каждой из этих категорий жен строго различается по налагаемой санкции. Характерно, что речь идет именно об оскорблении словом. Следовательно, вырабатываются строгие представления о феодальной чести.⁴ В цифрах этих штрафов социальное расстояние между большим боярином и сельским человеком определяется отношением 1 к 14.

Честь князя охранялась законом строже всего. За бесчестье князя по Русской Правде полагалось обезглавление: „Князю великому за бесчестье главу снять“. Смертная казнь полагалась и за восстание против князя. Князь Изяслав казнил организаторов восстания 1068 года. Князь Василько Ростиславич казнил в 1097 году мужей князя Давида Святославича, по наущению которых он был ослеплен. Ипатьевская летопись под 1177 годом приводит следующее обращение князя Святослава Всеволодовича к князю Роману Ростиславичу: „Брате, я не ишу под тобою ничего же, но ряд наш так есть, оже ся князь извинить, то в волость, а мужъ в голову“.⁵ Таким образом, оскорбление чести феодала, как и измена ему, карались смертной казнью. Та же смертная казнь за измену сюзерену и оскорбление ему полагалась и на Западе. При этом надо принять во внимание, что смертная казнь в раннефеодальном древнерусском государстве применялась исключительно редко.

Процесс образования сложной лестницы феодальных отношений в основном закончился к XII веку: великий князь, местные князья, бояре,

¹ Пространная Правда, статья 26: Правда Русская, т. II, М.—Л., 1947, стр. 344—345.

² Пространная Правда, статья 24: там же, стр. 341. Ср. в Краткой Правде статью 9 (там же, стр. 80—81).

³ Краткая Правда, статья 10: там же, стр. 82—86.

⁴ Б. Д. Греков. Крестьяне на Руси. М., 1946, стр. 91—92.

⁵ Ипатьевская летопись. Изд. 1871 г. Под 1177 г., стр. 409.

боярские слуги. Междукняжеские отношения строятся к этому времени на основании развитого сюзеренитета-вассалитета.

Вот эта-то сложная иерархия феодальных отношений отчетливо дает себя знать в художественной литературе — в характеристиках действующих лиц летописи, житий, исторических повестей. Она налагает ясно ощутимый отпечаток на систему художественных обобщений. И это прежде всего сказывается в том, что для каждой ступени феодальной лестницы вырабатываются, как мы уже сказали, свой идеал, свои нормы поведения, в зависимости от которых и расценивается тот или иной представитель этой ступени.

Сравнительно с общинно-патриархальной формацией феодализм предоставлял большие возможности для развития личности, но эти возможности открывались по преимуществу для представителей феодального класса. Согласно представлениям феодализма, история движется отдельными личностями из среды феодалов: князьями, боярами, духовенством, и это наложило свой отпечаток на образы людей в литературе. Вот почему и типизация в литературе XI—XIII веков основывается на отдельных конкретных исторических личностях. Литература — летопись или житие, всё равно — в основе своих образов имеет только исторические личности. Вымышленно-обобщенных образов людей литература феодализма не знает. Вместе с тем, каждое историческое лицо, как мы уже сказали, вводится в круг идеалов, располагающихся по ступеням феодальной лестницы.

Особое положение в этой „лестнице идеалов“ занимал трудовой народ. Сельское население, городские ремесленники не входили в состав феодальной иерархии. Они составляли только ту основу, над которой высилась феодальная лестница. Трудовой народ находился вне этой лестницы, а следовательно и вне лестницы феодальных идеалов. Ф. Энгельс указывал: „Всё, что не входит в феодальную иерархию, так сказать, не существует; вся масса крестьян, народа, даже не упоминается в феодальном праве“.¹ Не упоминаются в литературных произведениях и отдельные представители крестьянства, трудового народа.

Весь феодальный класс, несмотря на свою сложную многоступенчатую структуру, составляющую основу его неоднородности, в отношении трудового населения выступает как сплоченное единое целое. В первую очередь это касается княжеского рода — особенно спаянной, несмотря на все свои внутренние раздоры, части феодального класса. Постоянные раздоры в среде князей не мешали их сплоченности по отношению ко всем не князьям, в том числе и к другим представителям класса феодалов.

Тесное соприкосновение феодальной литературы и действительности, феодальной литературы и политики нашло свое отражение в строгом подчинении изображения людей идеалам феодальной верхушки.

Литература феодального периода была теснейшим образом связана с жизнью — с нуждами и требованиями феодального общества. Как мы увидим в дальнейшем, именно жизнь, а не литература, не литературная традиция выработала те идеалы, которые и в действительности, и в литературе служили мерилami людей. В литературном изображении реальные люди либо подтягивались к этим идеалам, признавались соответствующими им, либо отвергались именно с точки зрения этих идеалов. Литература в основном знала только две краски — черную и белую; определение же того, какой краской писать то или иное действующее

¹ Архив Маркса и Энгельса, т. X, стр. 280.

лицо, принадлежало реальной политической действительности и месту в ней самого автора. Противников своего лагеря летописец или составитель исторической повести писал темной краской, сторонников — светлой. Летописец, автор и себя подчиняли этикету феодального общества, вводил себя в иерархию феодализма: свое служение феодалу он переносил в свою писательскую деятельность. Летописец того или иного князя, того или иного монастыря, епископа выражал в своих творениях верность сюзерену. В большей мере, чем какой бы то ни было автор других веков, он подчинял задачи своего труда задачам служения своему сюзерену, оценивал события и людей так, как это ему подсказывали его обязанности подданного — человека, стоящего на одной из низших ступеней феодальной лестницы и связанного ее принципами.

* * *

Как в изображениях на мозаиках и фресках XI—XIII веков, князь в летописи всегда официален, всегда как бы обращен к зрителю, всегда представлен только в своих наиболее значительных поступках. Его речи при переговорах и на съездах князей, перед дружиной или на вече всегда лаконичны, значительны и как бы геральдичны. Порой они звучат как призывы, обращают на себя внимание своею образностью, удачно найденными формулами, сжато отражающими всегда одну и всегда основную мысль.

Геральдичность и церемониальность не требуют пространныго выражения. Они обращены во вне — к зрителю и читателю. Поступки, дела, действия, слова и жесты — основное в характеристиках князей. В летописи описываются эти действия и поступки, но не психологические причины, их вызвавшие.

Князья в летописи не знают душевной борьбы, душевных переживаний, того, что мы могли бы назвать „душевым развитием“. Князья могут испытывать телесные муки, но не душевные терзания. На всем протяжении своей жизни, как она фиксируется в летописи, они остаются неизменными. Даже в тех случаях, когда летописец и говорит об их душевных колебаниях, кажется, что они больше взвешивают все „за“ и „против“, чем испытывают нерешительность. В таких случаях сама несмелость предстает как черта их политических убеждений, а не характера. Старчески слабый князь Вячеслав Владимирович¹ выглядит в изображении летописца мудрым князем, отрешившимся от политики, хотя и продолжающим находиться на княжеском столе. Для летописца не существует „психологии возраста“. Каждый князь увековечен в своем как бы идеальном, вневременном состоянии. О возрасте князя мы узнаем только тогда, когда возраст (как и болезнь) мешает его действиям. Если в летописи говорится о детстве князя, то летописец стремится и здесь изобразить его как бы в его сущности князя. Ребенок-князь начинает битву, бросая копье (Игорь), или защищает мать с мечом в руках (Изяслав), или совершает обряд посажения на коня. С момента „посага“ (обычно в восьмилетнем возрасте) летописец по большей части уже не упоминает о возрасте князя, оценивая его поступки как поступки князя вообще. О юности князя летописец вспоминает только тогда, когда юноша-князь умирает и окружающие оплакивают его безвременную кончину.²

¹ См.: Ипатьевская летопись, под 1149—1154 гг.

² Повесть временных лет, т. 1, М.—Л., 1950, стр. 144: „Ростислава же искавше обретоша в реце; и взявше принесоша ѿ Києву, и плакая по немъ мати его, и вси

В характеристиках князей нет никаких оттенков и переходов, создающихся противоречиями внутренней жизни. Все добродетели князя точно определены, все пороки его исчислены, их может быть больше или меньше, но качественно они все одни и те же. Все они ясны, отчетливы, просты. Их скорее мало, чем много. Летописцы как бы избегают всего расплывчатого, неясного, создают как бы эмблемы и символы феодального порядка. Они пишут так же, как и иконописцы, — изображения для поклонения или, напротив, для осуждения. Их главное внимание уделено личностям феодалов, но самые эти личности служат как бы только олицетворениями существующих порядков — сложной феодальной лестницы и ее незыблемости.

Во второй половине XIII или в начале XIV века неизвестный автор, рязанец по происхождению, вспоминая рязанских князей минувших времен могущества и независимости Руси, следующим образом охарактеризовал этот уже уходящий к тому времени в прошлое идеал князей: „Сии бо государи рода Владимира Святославича — сродника Борису и Глебу, внучата великаго князя Святослава Ольговича Черниговьского. Бяше родом христолюбивыи, братолюбивыи, лецем красны, очима светлы, взором грозны, паче меры храбры, сердцем легкы, к бояром ласковы, к приеждим приветливы, к церквам прилежны, на пированье тщивы, до осподарьских потех охочи, ратному делу велми искусны, к братье своей и ко их посолником величавы. Мужествен ум имеяше, в правде истине пребываеши, чистоту душевную и телесную без порока соблюдаеши. Святого корени отрасли, и богом насажденнаго сада цветы прекрасныи. Воспитани быша в благочестии со всяцем наказании духовнем. От самых пелен бога возлюбиле. О церквах божиих велми печашеся, пустошных бесед не творяще, срамных человек отвращашеся, а со благыми всегда беседоваеши, божественных писаниих всегода во умилении послушаше. Ратным во бранех страшения ивляшеся, многия враги, востающии на них, побежаша, и во всех странах славна имя имяща. Ко греческим царем велику любовь имуща, и дары у них многи взимаша. А по браце целомудрено живяеши, смотряющии своего спасения. В чистой совести, и крепости, и разума предержа земное царство и к небесному приближаяся. Плоти угодие не творяще, соблюдающии тело свое по браце греху непричасна. Государьский сан держа, а посту и молитве прилежаша; и кресты на раме своем носяща. И честь и славу от всего мира приимаеши, а святые дни святого поста честно храняеши, а по вся святые посты причащашася святых пречистых бессмертных таин. И многи труды и победы по правой вере показаша. А с погаными половцы часто бьяшася за святые церкви, и православную веру. А отчину свою от супостат велми без лености храняща. А милостину неоскудно даяше, и ласкою своею многих от неверных царей, детей их и братью к себе приимаеши, и на веру истинную обращаеши“.¹ В этой характеристике всё собрано, всё сосредоточено, до предела сжато и выпукло, как в каменной резе владими́ро-суздальских соборов. Каждая черта до предела обобщена и продумана, каждая деталь — следствие работы мысли многих поколений, создавших свой идеал князя, его поведения, его внешнего облика. В этой монументальной характеристике рязанские князья обрисованы такими, какими они должны казаться людям: своей братье, их послам, дружине, боярам и врагам. Куда ни

люде пожалиша си по немь повелику, уности его ради“. Здесь, очевидно, имеется в виду народный плач, — следовательно, и не официальная летописная точка зрения.

¹ Труды ОДРЛ, т. VII, 1949, стр. 300—301.

обратится князь, всюду он лучший из лучших, для всех он такой, каким он должен быть, с точки зрения древнерусского автора. Для одних он грозен, для других ласков, к третьим щедр, для четвертых боголюбив, к пятым приветлив. Он весь в деятельности, он представитель своего положения, он как бы обращен во вне — к зрителю, к окружающим. И замечательно, что в „Похвале“ роду рязанских князей исчислены почти все те зрители, к которым обращена эффектная наружность князя: это бояре, приезжие, своя братья князя и греческие цари, „супостаты“ — враги, „неверные цари“, послы, духовенство. Ко всем этим зрителям — князь красен лицом, грозен и светел очами, всюду он первый в выполнении своих обязанностей: на пиру и в церкви, в битве и при приеме послов. Его облик легко обозрим, прост и впечатляющ. В многоликом идеале князя, то грозном, то приветливом и величавом, находят себе место и церковные добродетели. Качества князя соединены в его облике механически: рязанские князья и „на пирование тщивы“ и в посте прилежны, грозны и приветливы, до господарских потех „охочи“ и „срамных человек“ отвращаются, „пустошных“ бесед не творят.

Качества князей, их добродетели могут соединяться бесконечно, ибо они лишены внутренней, психологической связи. Добродетелей в князе может быть столько, сколько колец в его кольчуге. Каждая „добродетель“ обращена к зрителю, надета на нем, как доспех, механически соединена с соседней. Он окружается ими, как броней. Они — как бы его парадная одежда. Это хорошо подметил Даниил Заточник: „Паволока бо испестрена многими шолки и красно лице являет; тако и ты, княже, многими людьми честен и славен по всем странам“.¹

Еще отчетливее сравнение добродетелей князя с его одеянием в пространной посмертной характеристике волынского князя Владимира Васильковича. „Ты правдою бе оболчен, — обращается к нему летописец, — крепостью препоясан и милостынею яко гривною утварью златою украсуся, истиною обит, смыслом венчан“.² К каждому из своих зрителей князь обращается как бы в отдельности, полностью растворяясь в окружающей его феодальной среде и становясь до предела абстрактным. „Ты бе, о честная главо, — продолжает летописец, — нагим одеяние, ты бе алчущим корьмя и жажущим во вьртыпе оглашение, вдовицам помощник и страньным покоище, беспокровным покров, обидимым заступник, убогим обогатение, страньн приемник“.³

То обстоятельство, что добродетели механически присоединяются к другим добродетелям без внутренне объединяющей их связи, привело к легкому совмещению идеалов светского и церковного. В произведениях светской литературы к дружинным добродетелям князя, рисуящим его добрым воином и добрым главой дружины, тщивым на пиры, щедрым и храбрым, присоединяются духовные добродетели аскетического характера: нищелюбие, смирение, постничество и благочестие. С другой стороны, в житийных характеристиках дружинные добродетели легко присоединяются к церковным и осеняются венцом святости. Так было в характеристиках князей, погибших от татар, так было и в „Житии“ Александра Невского.

Христианское мировоззрение при изображении людей было поставлено на службу укреплению феодального строя. Оно вступало в силу по преимуществу там, где речь заходила о правовых преступлениях:

¹ Н. Н. Зарубин. Слово Даниила Заточника. Л., 1932, стр. 16—17.

² Ипатьевская летопись, под 1289 г., стр. 607.

³ Там же, стр. 607—608.

об убийстве, ослеплении, вероломстве, нарушении крестного целования и т. д. Убийство Игоря Ольговича побудило летописца обратиться к житийным образцам, то же можно сказать об убийстве Андрея Боголюбского и о многих других преступлениях периода феодальной раздробленности.

Характерно проникновение церковного элемента по преимуществу в изображение отрицательных персонажей светских произведений — врагов внешних и внутренних. Положительный идеал был главным образом светский; церковные добродетели лишь механически присоединялись в характеристике светских героев к основным светским, феодальным добродетелям. Но коль скоро речь заходила о дурных поступках, о врагах, — летописец становился целиком на церковную точку зрения и приписывал отрицательному персонажу по преимуществу церковные грехи и недостатки. В церковной литературной традиции светский автор находил сильные слова осуждения, яркие краски и твердую почву для морализирования.

В изображении отрицательных персонажей сказывался и христианский психологизм, когда делались попытки проникнуть во внутреннюю жизнь действующего лица. Летописец в гораздо большей степени, чем в изображении положительных героев своего повествования, стремился психологически объяснить поступки врага, описать внутренние побудительные причины его дурных поступков. Правда, этих побудительных причин немного: гордость, зависть, честолюбие, жадность.

Внешний враг устремляется на Русь „в силе тяжце“, „пыхая духом ратным“, под влиянием зависти, которую вложил ему в сердце дьявол, „устремившись прияти град и землю“, ¹ „надеяся объяти землю, потреби море“. ² Владимир Мстиславич нарушает крестное целование, так как был к братии своей „верьтлив“ и „не управляваше к ним хрестного целования“. ³

Однако и в отношении к отрицательным персонажам писатель XI—XIII веков не в меньшей степени официален, чем в отношении к положительным героям своего повествования. Отрицательный герой летописи — это внешний враг или противник своего князя в его классовой или феодальной борьбе. Отрицательные персонажи летописца найдены им не по их действительным отрицательным свойствам, а по тому положению, которое они занимали в феодальной и классовой борьбе своего времени. Характерно, что многие отрицательные психологические свойства противника определены летописцем также с этой официальной, служебной позиции. Один из самых отрицательных персонажей Ипатьевской летописи — князь Владимирко Галицкий. Его главная черта — жадность; он действует не прямо, не войной, а подкупом, деньгами. В этом изображении Владимирки сказалась ненависть представителя беднеющего Киевского княжества к гораздо более богатому в XII веке княжеству Галицкому. Беднеющий Киев презирал молодой и богатый Галич. Это презрение воплотилось в отрицательном образе „многоглаголивого“ Владимирки Галицкого, действовавшего деньгами, а не оружием, жадного к добыче и беспощадного в своей жадности. ⁴

¹ Ипатьевская летопись, под 1229 г., стр. 507.

² Там же, под 1217 г., стр. 492.

³ Там же, под 1171 г., стр. 374.

⁴ „И вда Всеволоду Володимирко за труд 1000 и 400 гривен серебра, переди много глаголив, и последи много заплатив“, — говорит о нем летописец (Ипатьевская летопись, под 1144 г., стр. 226). В противоположность Владимирке Всеволод Киевский роздал всё серебро „кто же башеть с ним был“. Об ограблении Владимирком жителей Мьческа см.: Ипатьевская летопись, под 1150 г., стр. 289: „Они же

Литературные портреты князей XII—XIII веков так же лаконичны, впечатляющи, энергичны и просты, как и их портреты живописные. На иконе XII века Третьяковской галлерей из Новгородского Юрьева монастыря Георгий Победоносец стоит со щитом за спиной, с копьем и мечом в руках, с кесарским венцом на голове. Все атрибуты власти при нем, оружие при нем; вспоминаются слова из „Изборника“ Святослава 1076 года — „красота воину оружие“.¹ Одежды Георгия тщательно выписаны и поражают богатством. Он обращен к зрителю, как бы позирует перед ним и прямо смотрит на него. Всё в нем различимо, ясно. Он изображен не в один из моментов своей жизни, а таким, каким он должен представляться зрителю всегда. Художник стремился изобразить все присущие ему признаки, а не какое-то из его временных состояний. Таков же Дмитрий Солунский на иконе XII века (в Третьяковской галлерее) или Ярослав Всеволодович на фреске новгородской церкви Спаса Нередицы.

И в литературе, и в живописи перед нами несомненно искусство монументальное. Это искусство, способное воплотить героизм личности, понятия чести, славы, могущества князя, сословные различия в положении людей. Бесстрашие, мужество, феодальная верность, щедрость, поскольку все они выражались в поступках и речах, были „доступны для обозрения“ читателю, не скрывались в глубине личности, были выражены явно — словом, делом, жестами, положением, могли быть переданы летописцем без особого проникновения в тонкости психологии.

В образах князей этого времени отчасти проглядывает идеал мужественной красоты, созданный народным творчеством. Этот идеал приобретал особую торжественность и парадность под пером летописца, будучи поставлен им на службу интересам феодалов, однако вместе с тем многое потерял из того, чем было богато народное творчество, — главным образом элементы непосредственно реалистического изображения. Литературные портреты князей выступают перед нами как бы высеченными из камня, подобно „прилепам“ владими́ро-суздальских соборов: с той же мерою обобщения и с тем же минимумом жизненно наблюдаемых деталей.

Литературные способы характеристики князей согласуются со способами описания их действий, поступков, подвигов. И в этих описаниях писатели XII—XIII веков также полны заботы о соблюдении этикета,

не имеяхуть дати чего у них хотяше, они же емлюче серебро из ушью и с шин, сливаюче же серебро даяхуть Володимеру. Володимер же поймав серебро и поиде, такоже смля серебро по всем градом, оли и до своей земли“.

¹ В. Шимановский. Сборник Святослава 1076 года. Изд. 2-е, Варшава, 1894, стр. 11. На это место „Изборника“ обратила мое внимание Н. А. Дёмина. В. Н. Лазарев пишет по поводу русской иконы Георгия-воина XII века Московского Успенского собора: „... в иконографии изучаемого нами памятника есть лишь одна не византийская деталь — жест левой согнутой руки, которая держит меч. Георгий выставляет этот меч напоказ подобно драгоценной реликвии. Известно, что наши далекие предки рассматривали меч как своего рода военную эмблему Руси. Вместе с тем меч являлся и символом власти, в частности — княжеской. В этом свете становится понятным жест левой руки Георгия. Он выставляет напоказ меч либо как военную эмблему Руси, либо как знак княжеского достоинства. Если образ Георгия был заказан каким-либо русским князем в качестве иконы соименного ему святого, то вероятнее второе предположение. В этом случае Георгий выступает в роли патрона князя и держит меч как знак княжеского достоинства охраняемого им лица“ (В. Н. Лазарев. Новый памятник станковой живописи XII в. и образ Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве. Византийский временник, т. VI, 1953, стр. 190). В наблюдении В. Н. Лазарева для нас особенно важно одно: художник, как и писатель, стремится к эмблематическому изображению, к передаче признаков, знаков достоинства.

о максимальном обобщении эпизодов, о зрительном, внешнем их эффекте в первую очередь.

Говоря о князе, о своем князе, летописец постоянно изображает его в парадных и официальных положениях: князь во главе своего войска; князь въезжает в свой город, его радостно встречают жители; князь „думает“ с боярами; князь принимает и отряжает послов; князь первым кидается в битву и „ломает копье“; тело князя с плачем хоронят жители, называя его защитником „сирых“, „кормителем“ и „нищелюбцем“. Перед нами несколько церемониальных положений, каждое из которых прямо годилось бы для печати князя как его эмблема. В каждом из этих положений князь предстает перед читателем прежде всего как князь, в ореоле княжеской власти и княжеской славы. Именно такие положения встречаются на иконах, на стенах храмов или на монетах (монета Владимира с его изображением и подписью: „Володимер на столе, а се его серебро“).

Князь предстает перед читателем или зрителем во всем блеске его княжеского достоинства. Летописец ловит его слова, фиксирует их, передает их в наиболее обобщенной форме — почти как сентенции, подчеркивает их мудрость и дальновидность, рисует князя только в значительные и торжественные моменты его жизни.

Вот Михалко и Всеволод въезжают во Владимир со славою и честью великою. Перед ними ведут колодников. „Узревше князя своя“, выходят им навстречу владимирцы и духовенство с крестами.¹ В иных случаях народ, встречая возвращающихся с победой князей, поет им славу.²

Вот изображение победившего врагов Мстислава Мстиславича Галицкого. Он въезжает в Галич, встречается там с Даниилом Романовичем. „Вси бо угре и ляхове убьени быша, а инии яти быша, а инии бегающе по земле истопоша, друзии же смерды избьени быша, и никому же утекши от них; тако бо милость от бога Руской земле“.³ Победенный враг — Судислав — обнимает колени Мстислава: „Обуима нозе его обещаю работе быти ему“.⁴ Мстислав же прощает врага „и честью великою почтив его, и Звенигород дать ему“.⁵

Еще более эффектные и импозантны картины парада княжеского войска с князем во главе. Парад войск Даниила Романовича описан под 1251 годом. Воины Даниила представлены во всем их блеске: „Щите же их яко зоря бе, шолом же их яко солнцю восходящу, копиемь же их дръжащим в руках яко тръсти мнози, стрелцемь же обапол идущим, и держащим в руках рожанци свое, и наложившим на не стрелы своя противу ратным. Данилови же на коне сядящу и вое рядящу“.⁶ В следующем году Даниил Романович показывает войско свое немцам. В описании этого смотра еще бóльшая роль принадлежит самому Даниилу. „Данила же приде к нему (к венгерскому королю, — Д. Л.), исполчи вся люди свое. Немыци же дивящиеся оружью татарьскому: беша бо кони в личинах и в коярех кожаных, и людье во ярыцех, и бе полков его светлость велика, от оружья блистающася. Сам же еха подле короля, по обычаю руску: бе бо конь под нимь дивлению подобен, и седло от злата жьжена, и стрелы и сабля златом

¹ Ипатьевская летопись, под 1176 г., стр. 408.

² Там же, под 1236 г., стр. 517—518.

³ Там же, под 1219 г., стр. 493.

⁴ Там же.

⁵ Там же.

⁶ Там же, под 1251 г., стр. 540.

украшена, иными хитростями, якоже дивитися, кожих же оловира грецького и круживы златыми плоскими ошит, и сапози зеленого хъза шити золотом. Немцем же зрящим, много дивящимся".¹ Фигура князя привлекает внимание летописца и в битве, когда князь обнажает меч, когда он ранен, когда оружие его в крови или пострадало от ударов врага: „И сулицы его кроваве суци и оскепищу изсечену от ударенья мечеваго“,² — говорит летописец о Данииле в битве с венграми.

Большинство положений князя, в которых описывает его летописец, связаны с княжеским этикетом, они в какой-то мере церемониальны. Церемониальны не только встречи князя и его посажение на столе, но и такие, как езда „у стремени“, что символизировало собой вассальную службу князя, его стояние „на костях“ после битвы, „обличая“ победу,³ и т. д. Важно отметить, что во всех этих церемониальных положениях большое значение придавалось общественному признанию князя. Въезды князя в город после победы, для посажения на столе, встречаются сочувственно народом. Князь въезжает в город „с великою славою и честью“,⁴ а иногда летописец не забывает упомянуть, что князю пелась слава, что народ встречал его, как пчелы встречают матку.⁵

„Геральдические“ положения найдены летописцем не только для своих, но и для врагов — для Севенча Боняковича, например, стремившегося ударить своим мечом в Золотые ворота Киева, как ударил в них когда-то его отец — хан Боняк, или для Владимирки Галицкого, обманувшего русских послов, лежа в постели, или посмеявшегося над послом Изяслава, стоя на переходах из своего дворца в божницу. Слова того и другого выражают в лаконичной и почти лозунговой (тоже геральдической) форме смысл их действий: „Хочу сечи в Золотая ворота, — говорит Севенч Бонякович, — якоже и отец мой“; „поеха мужь русский, обуимав вся волости“,⁶ — говорит Владимирко Галицкий. Свежесть и сила этих эпизодов не в том, что в них отражен какой-то новый подход к событиям, а в том только, что самые события для изображения взяты в них не совсем заурядные.

Враг изображается обычно в момент своего выступления в поход „в силе тяжце“⁷ или в момент своего поражения, когда он бежит с позором „дав плечи“, или обнимает ноги победителя, „обещаяся работе быти ему“.⁸ Боярин Доброслав выезжает „с великою гордынею“, „во одной сорочце, гордящу, ни на землю смотрящу“.⁹

В этих изображениях внутренняя жизнь князя подчинена его внешнему изображению. Князь мудр, храбр, справедлив — в той мере, в какой это полагается ему там, где это нужно по „этикету“. Всё совершается им в своем месте и в свое время. Князь поступает так, как нужно по воззрениям своего времени. Его личным привязанностям, вкусам, привычкам летописец уделяет место только тогда, когда это отражается на его судьбе. Болезнь князя описывается тогда, когда

¹ Ипатьевская летопись, под 1252 г., стр. 540—541.

² Там же, под 1232 г., стр. 512.

³ См., например: Ипатьевская летопись, под 1249 г., стр. 534: „И Льв ста на месте, воиньомь посреде трупья являюща победу свою“.

⁴ Ипатьевская летопись, под 1140 г., стр. 217; под 1142 г., стр. 223; под 1146 г., стр. 233; под 1150 г., стр. 288 и мн. др.

⁵ Там же, под 1235 г., стр. 517—518.

⁶ Там же, под 1152 г., стр. 319.

⁷ Там же, под 1237 г., стр. 520; под 1240 г., стр. 522 и др.

⁸ Там же, под 1219 г., стр. 493.

⁹ Там же, под 1240 г., стр. 525.

он болен смертельно. Въезд князя в город описывается тогда, когда он приезжает с победой из похода или для того, чтобы сесть на столе. Совет князя с боярами описывается тогда, когда принимается какое-либо мудрое решение. Князь не принадлежит самому себе. Он изображается только как представитель своего сословия, во-первых, и как исторический деятель, во-вторых.

Миниатюры Радзивилловской летописи выдержаны в едином стиле с текстом летописи XII—XIII веков. Они этикетны и геральдичны в самом точном смысле. В них иллюстрируются главным образом те положения, которые связаны с церемониалом, официальные, которые необходимо упомянуть по этикету. Посаждение князя на стол, въезд его в город, победа над врагами, прием послов, сцены инвеституры, осада князем или врагами города, подвиг князя в битве, похороны князя, выезд в поход, переговоры о мире и т. д. и т. п. — все эти действия изображены до предела лаконично. Войско изображается условной группой, город — воротной башней, мирные переговоры — трубачами, и т. д.¹

Хотя миниатюры Радзивилловской летописи и относятся к концу XV века, но по выбору сюжетов, по проникающему их духу феодального этикета они ближе всего стоят к XII и XIII векам, подтверждая тем самым гипотезу М. Д. Приселкова,² А. В. Арциховского³ и других о том, что в них копировались миниатюры более древние — свода 1212 года.

* * *

Подобное изображение людей было, конечно, близко к их прославлению. Там, где древнерусский автор сознательно стремился дать читателю представление о том человеке, о котором он писал, — обычно ясно ощущается и стремление прославить его или, напротив, унижить. О задаче искусства как о задаче прославления прямо писал в своем „Слове на седьмую неделю по Пасхе“ Кирилл Туровский: „Историцы и ветиа, рекше летописцы и песнотворци, прикланяють своа слухы к бывшая между царей рати и ополчения, да украсять словесы слышащая и възвеличать крепко храбровавшая и мужествовавшая по своем цари, и не давшихъ в брани плещи врагомъ, и тех славяще похвалами венчаютъ“.⁴

Общественное признание, „слава“ князя, его „честь“ — спутники феодальных добродетелей князя в писательском представлении того времени. Авторы XII—XIII веков не знают коллизий между тем, что представляет собой князь, и тем, как воспринимают его окружающие: его вассалы и народ. Как мы уже сказали, добродетели князя все обращены во вне, доступны для оценки; авторы XII—XIII веков не изображают скрытой, внутренней духовной жизни, которая могла бы быть неправильно понята читателями. Вот почему добрая слава не-

¹ Интересные особенности передачи в миниатюрах Радзивилловской летописи ряда сюжетов, отражающих феодальную идеологию „с диаграммной четкостью“ и „плакатной выразительностью“, вскрыты в работе А. В. Арциховского „Древнерусские миниатюры как исторический источник“ (М. 1944).

² М. Д. Приселков. История русского летописания XI—XV вв. Л., 1940, стр. 58.

³ А. В. Арциховский. Древнерусские миниатюры как исторический источник. М., 1944. См. также рецензию Н. Н. Воронина на эту работу в „Вестнике Академии Наук СССР“, 1945, № 9.

⁴ Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Под ред. А. И. Пономарева, вып. 1, СПб., 1894, стр. 167.

изменно сопутствует доброму князю и служит как бы удостоверением его феодальных добродетелей. Вот почему в похвале князю, живому или мертвому, так часто говорится о его славе, о любви к нему народа.

Когда умер Владимир Мономах, „весь народ и вси людие по немь плакахуся, якоже дети по отцю или по матери“.¹ По Изяславе Мстиславиче „плакалась“ „вся Руская земля и вси Чернии Клобуци“.² По Мстиславе Ростиславиче плакали все новгородцы — „все множество новгородское, и силнии и худии, и нищии, и убозех, и черноризьсьце“,³ и т. д. Плач по умершем — это и прославление князя, его заслуг, его доброты, его храбрости, обещание не забыть его доблести и его „приголубления“. „Уже не можем, господине, — плачут новгородцы по Мстиславе Ростиславиче, — поехать с тобою на иную землю, поганых поработити во область Новгородскую: ты бо много молвяшеть, господине наш, хотя на все стороне поганья; добро бы ныне, господине, с тобою умрети створшему толикую свободу новгородьцем от поганых, якоже и дед твой Мьстислав свободил ны бяше от всех обид; ты же бяше, господине мой, сему поревновал и наследил путь деда своего; ныне же, господине, уже к тому не можемь тебе узрети, уже бо солнце наше зайде ны и во обиде всим остахом“.⁴ Все эти плачи и прославления, конечно, далеки от передачи действительных: они в высокой степени литературны и традиционны.

Есть и другая сторона в этом общественном признании князя. Князь и вассалы, князь и народ составляют единое целое, связанное феодальными отношениями. Народ составляет неизменный и безличный фон, на котором с наибольшей яркостью выступает фигура князя. Народ как бы только обрамляет группу князей. Он выражает радость по поводу их посажения на стол, печаль по поводу их смерти, поет славу князьям при их возвращении из победоносных походов; он всегда выступает в унисон, без единого индивидуального голоса, массой, в которой неразличимы отдельные личности, хотя бы безымянные, вроде тех безликих групп, которые условно изображаются на иконах и фресках аккуратно разрисованными рядами голов, за ровным первым рядом которых только едва выступают верхушки голов второго ряда, за ним третьего, четвертого и т. д. — без единого лица, без единой индивидуальной черты. Их единственное отмечаемое достоинство — верность князю, верность феодалу.

Это вполне согласуется с основами феодальной идеологии. Князья постоянно требуют от населения верности себе. В свою очередь и население неоднократно заверяет в летописи князя о своей верности. Верность, преданность и любовь к князю народа окружают его, как ореолом. Могущество феодала тем больше, чем более преданы ему народ и вассалы. Чтобы возвеличить князя, надо подчеркнуть преданность ему его людей, готовность их в любое время выступить со своим князем по его призыву.

Описания преданности горожан своему князю обычны в летописи: народ, горожане, вассалы постоянно изъявляют готовность сложить за своего князя головы, заверяют его в своей верности и любви к нему. Изяслав Мстиславич входит в Киев, „хваля и славя бога... и выидоша противу ему множество народа и игумени и черноризци

¹ Ипатьевская летопись, под 1126 г., стр. 208.

² Там же, под 1154 г., стр. 323.

³ Там же, под 1178 г., стр. 413.

⁴ Там же.

и попове всего города Кыева в ризах¹. Горожане радуются княжескому „седению“ в их городе.² Они действуют по формуле: „мы людие твое, а ты еси наш князь“.³ Подобно тому как полки „жадахуть боя“ за своего князя,⁴ и горожане заявляют князьям: „аче ны ся и [с] детьми бити за тя, а ради ся бьем за тя“⁵ или „где узрим стяг ваю, ту мы готовы ваю есмы“.⁶ Горожане обещают князю оставаться верными в самых сильных выражениях: „оли ся с ним смертью розлучити“, — говорят смоляне о сыне Ростислава Мстиславича.⁷ Галицкий летописец дал в своих записях красочное описание встречи горожанами своего князя Даниила Романовича: „Они же воскликнувшие реша: «яко се есть держатель наш, богом даный» — и пустишася яко дети ко отцю, яко пчелы к матце, яко жажущи воды ко источнику“.⁸

Самому суровому осуждению подвергаются летописцем те горожане, которые проявляют к князьям „злое неверьствие“,⁹ и, напротив, получают одобрение те, которые твердо держатся своего князя, своей княжеской ветви — „племени“ Володимера¹⁰ или „племени“ Мстислава и не могут „руки подъяти“ на его представителей.¹¹ Во всех случаях изъявления преданности горожане выступают как единое целое — безликой и сплоченной массой. Душевные движения всех новгородцев как единого целого широко представлены, например, в Новгородской первой летописи. Новгородцы то радуются своему князю, то печалются его неудачам, то выражают ему преданность. Их отношения с князьями идилличны. Новгородцы заявляют Мстиславу Мстиславичу: „камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вържем“.¹² Они идут с ним на юг, но под Смоленском отказываются идти дальше, и тогда Мстислав, „человав всех, поклонився поиди“.¹³ Впрочем, на следующий год сам Мстислав отказывается от новгородцев — „суть ми орудия в Руси, а вы вольни в князех“,¹⁴ — и новгородцы не в обиде. Патетически заявленная верность князя народу и народа князю могла при известных условиях нарушаться со взаимного согласия. Во всяком случае нарушения верности не становились реже от того, что верность эта прокламировалась при всяком удобном случае с аффектацией и официальной торжественностью.

Верность народа, дружины князю подкрепляется феодальной верностью ему его вассалов. Верность — основная положительная черта и народа, и вассалов князя в изображении летописца. Главная обязанность вассалов — „ездить подле стремени князя“,¹⁵ т. е. верно выполнять военную службу князя, участвовать в его походах и войнах.

¹ Лаврентьевская летопись. Повесть временных лет, Изд. АН СССР, М.—Л., 1950, под 1146 г., стр. 313.

² Ипатьевская летопись, под 1160 г., стр. 345.

³ Там же, под 1159 г., стр. 339.

⁴ Там же, под 1174 г., стр. 391.

⁵ Там же, под 1159 г., стр. 339.

⁶ Там же, под 1149 г., стр. 268; ср.: там же, под 1146 г., стр. 230.

⁷ Там же, под 1168 г., стр. 362.

⁸ Там же, под 1235 г., стр. 517—518.

⁹ Там же, под 1147 г., стр. 250.

¹⁰ Там же, под 1173 г., стр. 383 (о новгородцах).

¹¹ Лаврентьевская летопись, под 1140 г., стр. 308. „Кияне же рекоша: «Княже! ты ся на нас не гневай, не можем на Володимире племя руки възняти»“ (Ипатьевская летопись, под 1147 г., стр. 243; ср.: там же, стр. 246).

¹² Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.—Л., 1950, под 1214 г., стр. 53.

¹³ Там же.

¹⁴ Там же, под 1215 г., стр. 53.

¹⁵ См.: Ипатьевская летопись, под 1147 г., стр. 245; под 1152 г., стр. 320.

Мужичи целуют крест своим князьям „добра хотети и чести стеречи“.¹ Вассалы князя выражают готовность немедленно притти к нему на помощь. Венгры говорят Изяславу Мстиславичу, что они „готовы“, а „комони“ „под ними“.² Черные клобуки заверяют Изяслава Мстиславича и Вячеслава Владимировича: „Хочем же за отца вашего за Вячеслава и за тя, и за брата твоего Ростислава, и за всю братью, и головы свое сложити, да любо честь вашу налезем, паки ли хочем с вами ту измерети“.³ То же говорят и берендеи Юрию Долгорукому: „Мы умираем за Русскую землю с твоим сыном и головы своя съкладаем за твою честь“.⁴ Обещание умереть за своего сюзерена Владимира Васильковича дает и Литва: „Володимере, добрый княже, правдивый! можем за тя головы свое сложити; коли ти любо, осе есмы готовы“. Литовцы же говорят ему, приходя к Берестью: „Ты нас возвел, да поведи ны куда; а се мы готовы, на то есмы пришли“.⁵

Атмосфера неуклонного выполнения вассальной службы князю служит его возвеличиванию. В вассальную службу включается даже боевой конь князя. Преданность коня служит как бы назидательным примером для вассалов князя и заставляет воздать ему почести. Конь Андрея Боголюбского, пожертвовав собой, спас ему жизнь и был им похоронен с почестями: „Конь же его (Андрея Боголюбского, — Д. Л.), язвен велми, унес господина своего, умре; князь же Андрей, жалуя комоньства его, повеле ѿ погresti над Стрыем“.⁶

Вассальная верность далеко не бескорыстна. Она оплачивается князем его „лаской“, „хлебом“, „медвяной чашей“ и дорогим „портищем“, но от этого отнюдь не становится в глазах писателя XII—XIII веков менее похвальной. Напротив, авторы часто говорят с похвалой о верности, как бы оплачивающей доброту князя.

Верность князю так выразил в своем „Молении“ Даниил Заточник: „Яз не могу, как на свет посмотрити и на луну солнечну, то аз, госпоже осподарыне, на государя подумати за его доброту и ласку, и за портище драгоценное, и за его хлеб и сол, и за чашу медвяную“.⁷ О том же портище вспомнил и Кузьмище Киянин, когда упрекнул за измену своему князю Андрею ясина Амбада: „Помнишь ли... в которых порьтех пришел бяшетъ (к князю, — Д. Л.)? Ты ныне в оксамите стоиши, а князь наг лежить“.⁸ О хлебе и чаше говорит летописец и в похвале ростовскому князю Васильку Константиновичу: „Кто ему (Васильку, — Д. Л.) служил и хлеб его ел, и чашу пил, и дары имал, тот никако же у иного князя можаше быти за любовь его“.⁹ Феодалная верность — это как бы плата вассала за его кормление и защиту. За измену своему князю Даниил Заточник предлагает: „За тую лихую меру от булатна меча своего мне головкою отлити та чаша медвеная кровию“.¹⁰ Медвяная чаша отольется изменнику чашею крови.

Измена князю — самое крупное преступление, и в действительности за нее полагалась смертная казнь.¹¹

¹ Ипатьевская летопись, под 1150 г., стр. 278.

² Там же, стр. 287.

³ Там же, под 1151 г., стр. 295.

⁴ Там же, под 1155 г., стр. 330.

⁵ Там же, под 1282 г., стр. 586.

⁶ Там же, под 1149 г., стр. 272—273.

⁷ Н. Н. Зарубин, ук. соч., стр. 36.

⁸ Ипатьевская летопись, под 1175 г., стр. 401.

⁹ Лаврентьевская летопись, под 1237 г., стр. 467.

¹⁰ Н. Н. Зарубин, ук. соч., стр. 36.

¹¹ См. выше, стр. 10.

* * *

Отношения вассалитета-сюзеренитета определяются взаимными обязанностями. Строгое выполнение вассалами своих обязанностей укрепляет авторитет сюзерена. Строгое выполнение сюзереном своих обязанностей по отношению к вассалам укрепляет его еще более. Авторы XI—XIII веков ставят князя на пьедестал вассальных повинностей и украшают его обязанностями сюзерена.

Если князь не считается со своими вассальными князьями, они отказываются ему служить. Так было с Юрием Долгоруким, которому южные князья прямо бросили упрек: „но с нами не умеет жити“.¹

Повинности князя по отношению к своим боярам и дружине определены четко. Князь должен быть щедр к ним и во всем советоваться с ними — „о строем землею“ и о воинских делах. Иногда эти обязанности князя разделены: среди его приближенных есть „мужи храборствующие“, к которым он щедр, и „бояре думающие“, с которыми он совещается в совете.²

Щедрость князя находит себе своеобразное идейное обоснование в афоризме летописца: „Златом и серебром не добудешь дружины, а дружиною добудешь и серебро и злато“. „Повесть временных лет“ неоднократно напоминает об этой дружинной морали.

Так, например, в рассказе „Повести временных лет“ о прибытии в Киев немецкого посольства проведена та мысль, что дружина дороже всякого богатства. „Се ни в что же есть, се бо лежить мертво, — говорят послы о богатствах Святослава. — Сего суть кметье луче. Муже бо ся доищуть больше сего“.³ В сходных выражениях говорит в „Повести временных лет“ и Владимир Святославич: „Сребромъ и златом не имамъ налести дружины, а дружиною налему сребро и злато, яко же дед мой и отецъ мой доискася дружиною злата и сребра“.⁴

С небольшими вариантами эта мораль постоянно повторяется и в летописях XII—XIII веков. Князь Святослав Ростиславич был „храбор на рати“, „имеаще дружину (в чести) и именья не щадяще, не сбираше злата и сребра, но даваше дружине“.⁵ Тот же мотив звучит и в характеристике Давида Ростиславича: „Бе бо крепок на рати, всегда бо тосняшеться на великая дела, злата и сребра не сбираетъ, но даетъ дружине, бе бо любя дружину, а злая кажня, якоже подобаетъ царемъ творити“.⁶ Щедрость князя восхваляется в летописи неоднократно,⁷ как неоднократно осуждается в ней и княжеская жадность.⁸ Эта мораль отчетливо выражена в „Молении“ Даниила Заточника. Неоднократно взывая к щедрости князя, Даниил прямо повторяет и летописную формулу: „Златомъ бо мужей добрыхъ не добудешь, а мужми злато и градовъ добудеш“.⁹

Другая обязанность князя по отношению к своей дружине и боярам — во всем советоваться с ними. Как известно, отступление князя Святополка от этого правила вызвало его конфликт со старшей дружиной.¹⁰

¹ Ипатьевская летопись, под 1148 г., стр. 257; ср.: там же, под 1150 г., стр. 276.

² Там же, под 1185 г., стр. 434.

³ Повесть временных лет, т. 1, под 1075 г., стр. 131.

⁴ Там же, под 996 г., стр. 86.

⁵ Там же, под 1172 г., стр. 376.

⁶ Там же, 1197 г., стр. 471.

⁷ Там же, стр. 288, 290 и др.

⁸ Там же, под 1150 г., стр. 289.

⁹ Н. Н. Зарубин, ук. соч., стр. 60; ср.: там же, стр. 17.

¹⁰ См.: Софийская первая летопись. ПСРЛ, т. V, вып. 1, Л., 1925, стр. 8 и 9.

Было бы неправильно видеть в обычае князей советоваться с дружиной — их консерватизм, остатки военной демократии. Авторы XII—XIII веков, восхваляя князей, неоднократно говорят об этом обычае, выставляя следование ему одной из важнейших добродетелей князя.

Летописец высоко ценит тех князей, которые свою деятельность согласуют с верхами феодального общества — с „лучшей дружиной“. Думать думу с дружиной, совещаться с ней — основная княжеская обязанность. Сын Юрия Долгорукого Глеб Юрьевич „думашеть з дружиною своею“,¹ — летописец хвалит его за это. Теплую похвалу летописца заслужил и Мстислав Ростиславич, который „прилежно бо тѣшеться, хотя страдати от всего сердца за отчину свою, всегда бо на великая дела тѣснася, размышливая с мужи своими, хотя исполнити отечество свое“.²

Князь, во всем советуемый с дружиной, заслуживает похвалы. Перечисляя выдающиеся добродетели своего князя, летописец наряду с тем, что он „хоробор“, „крепок на рати“, „немало показал мужьство свое“ и пр., упоминает и о том, что он был „думен“, т. е. совещался с дружиной.³

Вассалы князя отказываются служить ему, если он не совещается с ними. Бояре Владимира Мстиславича заявляют ему: „О собе еси, князю, замыслил; а не едем по тебе, мы того не ведали“.⁴

Переводя в практический план эту феодальную мораль, Даниил Заточник говорил: „З добрым бо думцею думая, князь высока стола добудеть, а с лихим думцею думая, меншего лишен будеть“.⁵ Князь обязан быть дружен со своей дружиной. Совместно с нею он „держает“ на поганых и побеждает их.⁶ Он сохраняет ей верность, предпочитая дружину не только золоту и серебру, но и княжению. „Лепее ми того смерть, — говорит сын Владимира Мономаха Андрей Владимирович Добрый, — а с своею дружиною на своей воочине, и на дедине нежели Курьское княженье“.⁷ За свою дружину, за ее честь и „жизнь“ князь готов пожертвовать своею головою: „Любо голову свою сложю, паки ли отчину свою налему и вашу всю жизнь“,⁸ — говорит Изяслав Мстиславич своей дружине.

Хваля князя за то, что он „немало мужьства показа“ и „много пота утер“ за Русскую землю, летописец не забывает прибавить „с дружиною своею“ и „с мужьими своими“.⁹

* * *

Идеал князя основывается на определенных представлениях о чести и о „сороме“. Он потому так прочен в литературных произведениях XI—XIII веков, что опирается на представления, широко распространенные в верхах феодального общества.

Главные добродетели князя — быть „величавым на ратный чин“, готовность пожертвовать своей жизнью за свою честь, за честь Русской

¹ Лаврентьевская летопись, под 1169 г., стр. 358.

² Ипатьевская летопись, под 1178 г., стр. 411.

³ О Льве Даниловиче: Ипатьевская летопись под 1288 г., стр. 605.

⁴ Там же, под 1169 г., стр. 367.

⁵ Н. Н. Зарубин, ук. соч., стр. 26.

⁶ Лаврентьевская летопись, под 1125 г., стр. 296.

⁷ Там же, под 1139 г., стр. 307.

⁸ Ипатьевская летопись, под 1150 г., стр. 284; ср.: там же, под 1146 г., стр. 230—231.

⁹ Там же, под 1174 г., стр. 392.

земли, мстить за свой „сором“¹ или „сором“ Руси. Формула „да любо налезу собе славу, а любо голову свою сложю за Русьскую землю“² с небольшими вариантами неоднократно повторяется в речах князей на всем протяжении XII—XIII веков.³

Даниил Романович Галицкий так определил основную заповедь княжеско-дружинной воинской морали: „Подобаеть воину, устремившуся на брань, или победу прияти, или пастися от ратных“.⁴

Бесстрашие в бою — одна из важнейших черт в идеальном портрете князя. Летопись неоднократно говорит о том или ином князе, что он был „хоробр и крепок на рать“, „спешаше бо и тосняшеся на войну“, от юности навек никого не „уполошится“, что сердце его было „крепко на брань“, что он был „мужь добр и дерзок и крепок на рати“, „умом велик и дерзостью“ и т. д. Презрение к смерти хорошо выражено в ободряющей речи, которую сказал Даниил Романович своим союзникам полякам: „Почто ужасываетесь? не весте ли, яко война без падших мертвых не бывает? не весте ли, яко на мужи на ратные нашли есте, а не на жены? аще мужь убьен есть на рати, то кое чюдо есть? инии же и дома умирають без славы, си же со славою умроша; укрепите сердца ваша и подвигнете оружие свое на ратнее“.⁵

Эта мораль воинов была знакома не только княжеско-дружинной среде. Формулу „любо голову свою сложю, либо сором свой мщу“ развивает в своем слове „О терпении и милостыне“ и Феодосий Печерский. Христианскую мораль он пытается подкрепить примером морали воинской. Он говорит о воинах, что они „главы своя ни в что же помнят, дабы им не посрамленным быти“.⁶

Как и в иных случаях, летописцу важно при этом подчеркнуть действия, а не психологическое состояние героя своего повествования. Хваля его за мужество и храбрость, писатель XII—XIII веков имеет в виду в первую очередь результаты этой храбрости: его победы, страх, нагнанный им на врагов Русской земли, приобретенную им славу „грозного“ и непобедимого князя. Некрологическая характеристика Владимира Мономаха подчеркивает, что это был князь, „украшенный добрыми нравы, прослувыи в победах, его имене трепетаху вся страны и по всем землям проиде слух его“.⁷

О страхе, который нагнал князь на врагов, летописец говорит, характеризуя сына Мономаха Мстислава, Романа Галицкого, Даниила Романовича; об этом же говорится в житийной характеристике Александра Невского, в „Слове о погибели Русской земли“ и во многих других произведениях.

Храбрость князей авторы XII—XIII веков стремятся подчеркнуть не только в своих похвальных характеристиках им, но и в описании их действий.

Одна из самых важных добродетелей князя — быть впереди своего войска, первым бросаться в битву, побеждать врагов в рукопашной схватке. Этот обычай, следовать которому обязан молодой князь и по

¹ Например, Мстислав говорит Даниилу Романовичу: „А яз пойду в половци, мьстив сорома своего“ (Ипатьевская летопись, под 1213 г., стр. 491).

² Повесть временных лет, т. 1, стр. 176 (под 1097 г.).

³ Владимир Мстиславич, например, говорит: „А любо сором сложю и земли своей мьдью, любо честь свою налезу, пакы ли а голову свою сложю“ (Ипатьевская летопись, под 1149 г., стр. 263).

⁴ Ипатьевская летопись, под 1234 г., стр. 512.

⁵ Там же, под 1254 г., стр. 546.

⁶ Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, стр. 39.

⁷ Лаврентьевская летопись, под 1125 г., стр. 293—294.

которому судят о своем князе его воины и народ, так объяснен в Ипатьевской летописи. „Мужи браньнии“ говорят Даниилу Романовичу Галицкому: „Ты еси король, голова всим полком; аще нас последи наперед кого, не послушно есть! веси бо ты войничьский чин, на ратех обычай ти есть, и всякий ся тебе устрямить и убоиться; изъиди сам наперед“. Даниил же, изрядив полки, и кому полком ходити, сам изииде наперед, и ...сам же еха в мале отрок дружных¹. Так наперед выезжал сам Даниил и раньше — в битве на Калке; он бьется крепко, „бе бо дерз и храбор, от головы и до ногу его не бе на немь порока“². Он не чувствует ран, нанесенных ему в битве: „Младьства ради и буести не чюяше ран, бывших на телеси его: бе бо возрастом 18 лет, бе бо силен“³. Еще раньше, когда Даниил был совсем молод, он уже участвовал в битве, укрепляя своих воинов, помогая воинам, которые, „мужескы ездяща“, бились с противником. В битве с ятвягами Даниил гонится за ними, наносит раны, вышибает копье из рук врага. Он помогает брату Васильку („обратися брату на помощь“)⁴. Дружина бьется не крепко, когда нет с ней князя, и это хорошо осознают сами князья: „Черниговцам же, бьющимся из города, князи же здумавше вси: „Не крепко бьются дружина, ни половци, оже с ними не ездим сами““⁵.

Поединкам князя с врагом уделяется особое место в его характеристике. Слава князя не в малой степени зависит от поведения князя в битве. Отправляясь против врага в рукопашную схватку, Андрей Боголюбский говорит: „Ат яз почну день свой“⁶. Он придает своему поступку демонстративный характер. Он первым обнажает меч и первым ломает копье, выезжая впереди дружины. Андрей Боголюбский „въехав преже всех в противныя, и дружина его по нем, и изломи копье свое в супротивье своем“⁷. Прочие князья стремятся подражать своему сюзерену. Так, в 1152 году „тогда же поревновавше ему (Андрею Боголюбскому, — Д. Л.) инии князи, ездяща последи под город“⁸. Князя-победителя славят „мужи отни“ — старые воины его отца. В 1149 году „мужи отни похвалу ему даша велику, зане мужьскы створи паче всех бывших ту“⁹. Но иной раз бояре говорят своему князю: „Ты еси у нас князь один, оже тебе ся что створить, то что нам деяти?“ — и не выпускают князя на стычки с врагом.¹⁰

Единоборство князя постоянно упоминается в летописи: в рассказе об Изяславе Мстиславиче — „и тако перед всими полки въеха Изяслав один в полки ратних, и копье свое изломи“¹¹; в повествовании о Мстиславе Андреевиче Суздальском, который под Новгородом „въеха в ворота, и побод мужей неколько, возворотися опять к своим“¹²; в описании походов Изяслава Глебовича (внука Юрия Долгорукого), который в битве с волжскими болгарами, „въгнав за плот к воротам городным, изломи копье“¹³.

¹ Ипатьевская летопись, под 1256 г., стр. 551.

² Там же, под 1225 г., стр. 497.

³ Там же.

⁴ Там же, под 1227 г., стр. 502.

⁵ Лаврентьевская летопись, под 1152 г., стр. 338.

⁶ Там же.

⁷ Там же, под 1149 г., стр. 324.

⁸ Там же, стр. 339.

⁹ Там же, стр. 325.

¹⁰ Там же, под 1153 г., стр. 340.

¹¹ Ипатьевская летопись, под 1151 г., стр. 303.

¹² Там же, под 1173 г., стр. 382.

¹³ Лаврентьевская летопись, под 1184 г., стр. 390.

Летописец пишет об этих поединках князя и славит за них князя именно потому, что за них же славили князя и его воины, горожане, народ, потому, что именно эти подвиги князя составляли существенную часть его воинской славы.

Мужество на войне согласуется с мужеством на охоте. Война и охота — два княжеских дела, в их несколько архаическом уже для эпохи феодализма сочетании. „Путями“ и „ловами“, т. е. походами и охотами гордится Владимир Мономах, перечисляя свои подвиги тут и там: „А се вы поведаю, дети моя, труд свой, оже ся есмь тружал, пути дея и ловы“;¹ „а се тружахъся ловы дея... конь диких своима рукама связал есмь в пушах 10 и 20, живых конь, а кроме того иже по Рови ездя, имал есмь своима рукама те же кони дикие; тура мя 2 метала на розех и с конем; олень мя один бол, а 2 лоси — один ногами топтал, а другой рогома бол; вепрь ми на бедре мечь оттял; медведь ми у колена подъклада укусил; лютый зверь скочил ко мне на бедра и конь со мною поверже, и бог неврежена мя съблюде; и с коня много падах; голову си розбих дважды и руце и нозе свои вередих. В уности своей вередих, не блюда живота своего, ни щадя головы своея“.² Не щадить своей головы, оказывается, следует не только на войне, в битве с противником, соблюдая свою честь и честь Родины, но и на охоте. Такова мораль феодалов.

За беззаветную храбрость на охоте хвалит летописец и волынского князя Владимира Васильковича. Так же, как и Владимир Мономах, он не щадил на охоте собственной головы и делал всё сам, собственными руками: „Бяшетъ бо и сам ловець добр, хоробр, — пишет о нем волынский летописец, — николи же ко вепреви и ни к медведе не ждаше слуг своих, а быша ему помогли, скоро сам убиваше всяки зверь; тем же и прослыл бяшетъ во всей земле, понеже дал бяшетъ ему бог вазнь не токмо и на одиных ловех, но и во всем, за его добро и правду“.³

Мужество на охоте, как и мужество на войне, окружало феодала ореолом славы. Летописец говорит о брестском воеводе Тите, что он „езде словый мужьством на ратех и на ловех“.⁴ „Добро“ и „правда“ феодала — в его подвигах и в славе, которая эти подвиги сопровождает.

* * *

Воинские доблести князя интересуют летописца не только сами по себе. Он думает о княжестве, о Русской земле. Своей доблестью князь подает пример своим воинам. Князь олицетворяет могущество и достоинство своей страны.

Вот почему среди добродетелей князя перечисляются добрые качества не только воина, но и государственного человека. В этом отношении исключительный интерес представляет в „Повести временных лет“ характеристика Ярослава Мудрого, под 1037 годом. Здесь в первую очередь восхваляется его строительная деятельность и его заботы о книжном просвещении.

И в характеристике Ярослава Осмомысла Галицкого подчеркивается то, что он „мудр и речен языком, и богобоин, и честен в землях“. На последнем месте в этой характеристике упоминается то, что он был

¹ Лаврентьевская летопись, под 1096 г., стр. 247.

² Там же, стр. 251.

³ Ипатьевская летопись, под 1287 г., стр. 596.

⁴ Там же, под 1283 г., стр. 586—587.

„славен полкы“, причем отмечается, что он не сам ходил в походы, а только посылал войско: „Где бо бьшеть ему обида, сам не ходяшеть полкы своими, [но посылашеть я с вое]водами“.¹

Идеал князя XII—XIII веков был неотделим от идей патриотизма. Идеальный образ князя, так, как он рисовался летописцу, был воплощением любви к родине — к отчине, к Русской земле. Князь служит Русской земле, готов сложить за нее голову, готов со своею дружиною тотчас же выступить в поход против ее недругов, забыть свои обиды для того, чтобы „мстить обиды“ Русской земли.

Князья обещают „терпеть за Рускую землю“,² „за крестьяны и за Рускую землю головы свое сложити“,³ „Руской земли блюсти“,⁴ „стеречь Рускую землю“,⁵ „трудиться за свою отчину“.⁶ Не раз обращаются они друг к другу с призывом помириться, „хрестьян деля и всее Руской земли“,⁷ не проливать крови христианской „Русские деля земля и хрестьян деля“.⁸

Летописец говорит о князе, что он был „добрый страдалецъ за Рускую землю“.⁹ Блюсти интересы Русской земли и „хрестьян“ — не только долг князя. Летописец подчеркивает, что долг этот совпадал с личными чувствами князя. Князь мог „опечалиться Рускою землею“,¹⁰ он хочет ей добра всем сердцем¹¹ и мечтает умереть на своей Родине. Так Ростислав Иванович (сын Ивана Берладника) говорит: „А яз не хочю блудити в чюже земле, но хочу голову свою положить во отчине своей“.¹² Он и в самом деле выполняет свое желание — умирает на родной земле, и летописец подчеркивает это обстоятельство как положительно его характеризующее.

Желание умереть на родине так понятно летописцу, что он приписывает его и чужеземцу — половецкому хану Отроку. Отрок говорит: „Да лучше есть на своей земле костью лечи, нели на чюже славну быти“.¹³

Патриотизм был не только долгом, но и убеждением тех русских князей, образы которых рисовали летописцы положительными чертами. Конечно, летописцы XI—XIII веков иногда отражали в своем идеале княжеского поведения представления не только феодальных верхов, но и трудового народа. Вот почему княжеский патриотизм, в действительности ограниченный во многом феодальными представлениями, в изображении летописцев иногда наделяется чертами, свойственными народному патриотизму.

Какова была действительная роль характеристик князей в описании и истолковании исторических событий в летописи? Летописцы древней Руси придавали исключительное значение в историческом процессе поступкам князей, их распоряжениям, их политике. События вершатся, с точки зрения летописцев, волей князей, но это не означает признания роли их личных, индивидуальных характеров в историческом про-

¹ Ипатьевская летопись, под 1187 г., стр. 441—442.

² Лаврентьевская летопись, под 1205 г., стр. 420.

³ Ипатьевская летопись, под 1170 г., стр. 368.

⁴ Там же, под 1148 г., стр. 257.

⁵ Там же, стр. 258.

⁶ Там же, под 1189 г., стр. 446.

⁷ Слова Ростислава Мстиславича: там же, под 1148 г., стр. 256.

⁸ Там же, под 1149 г., стр. 266.

⁹ Там же, под 1126 г., стр. 208.

¹⁰ Лаврентьевская летопись, под 1206 г., стр. 426.

¹¹ Ипатьевская летопись, под 1170 г., стр. 368.

¹² Там же, под 1189 г., стр. 447.

¹³ Там же, под 1201 г., стр. 480.

цессе. Только в конце XVI—начале XVII веков внимание авторов исторических повестей, русских статей в Хронографе и публицистических произведений будет приковано к реальным личным характеристикам исторических лиц, якобы обуславливавшим собой движение исторического процесса. В летописях XI—XIII веков дело обстоит значительно проще: здесь почти нет столкновений характеров и связи развития исторических событий с характерами их участников, но есть столкновения интересов, притязаний, генеалогические споры. При этом по большей части каждый князь совершает свое жизненное дело как представитель определенной ветви княжеского рода. Этот взгляд также шел от жизни. Жители городов и княжеств приглашали, встречали или прогоняли князей как носителей определенных династических интересов и династической традиционной политики, определяемой местом данного князя в генеалогическом дереве княжеского рода. Так, например, новгородцы говорят Всеволоду Юрьевичу Суздальскому: „не хотим сына твоего, ни брата, ни племени [вашего, но хотим племени] Володимира“.¹ Киевляне говорят Изяславу Мстиславичу: „Княже! ты ся на нас не гневай, не можем на Володимире племя руки възняти“.² Собираясь убить Игоря Ольговича, киевляне говорили: „Мы ведаем, оже не кончати добромь с тем племенем, ни вам, ни нам, коли любо“.³ Посылая за новыми князьями к Михаилу и Всеволоду Суздальским, суздальцы, ростовцы и переяславцы говорят им: „Ваю отець добр был, коли у нас был; а поедьте к нам княжить, а иных не хотим“.⁴ Сын, следовательно, принимался по отцу. Так было и в других случаях: внук приглашался по деду и прадеду, по принадлежности его к определенному роду, т. е., по понятиям того времени, к определенной политической линии.

В свою очередь и князь говорит своим горожанам: „Вы есте людие деда моего и отца моего, а бог вы помози“.⁵ Родовая политика, честь, традиции рода ясно осознавались и самими князьями. Андрей Владимирович Добрый, сын Владимира Мономаха, говорил по поводу своей готовности пострадать за свою отчину: „Обаче не дивно нашему роду, тако и прежде было же“.⁶ Эта родовая политика часто называется в летописи „путем“, „честью“ и „утверждением“ предков. Князья нередко предпринимают те или иные действия, чтобы „поискати отець своих и дед своих пути и своей чести“.⁷ Изяслав Мстиславич посылал своих послов в Чернигов к Владимиру и Изяславу Давыдовичам с многозначительными словами: „Се есмь путь замыслили, а то есть утверждение дед наших и отець наших“.⁸

Князья „ревнуют“ своим предкам, стремятся „поревновать“ своим отцам и дедам. Самое понятие „ревности“ предкам переносится из светской области и в церковную. „Ревновать“ отцу своему можно не только в воинской славе, но и в церковной. Вдова Глеба Всеславича „велику имеяше любов с князем своим, к святей богородици и к отцю Федосью, ревнующи отцю своему Ярополку“.⁹

¹ Ипатьевская летопись, под 1140 г., стр. 220; в квадратных скобках текст из списков X, П.

² Там же, под 1147 г., стр. 243; ср. стр. 246 и 250.

³ Там же, под 1147 г., стр. 246.

⁴ Лаврентьевская летопись, под 1175 г., стр. 404.

⁵ Ипатьевская летопись, под 1150 г., стр. 285.

⁶ Лаврентьевская летопись, под 1139 г., стр. 307; ср. те же слова в Ипатьевской летописи, под 1140 г., стр. 219.

⁷ Ипатьевская летопись, под 1170 г., стр. 368.

⁸ Там же, под 1147 г., стр. 244.

⁹ Там же, под 1158 г., стр. 338.

В некрологических характеристиках князей постоянно упоминается эта родовая политика, родовой „путь“ и „пот“, их „ревность“ предкам. Так, например, о сыне Владимира Мономаха, Мстиславе Великом, автор некролога говорит, что он „наследил отца своего пот, Володимера Мономаха великаго“.¹ Князья и сами постоянно осознают себя „володимеровым племенем“² или „ольговичами“, „единого деда внуками“,³ „внуками ярославлими“ или „всеславлими“.

Индивидуальность князя, в летописном изображении, вырисовывалась из сравнения его с князьями его рода, которым он „ревновал“ в своих действиях и княжении. В некрологической характеристике брата Игоря Святославича Новгород-Северского говорится, что он „во олговичех всих удалее рожаемь, и воспитаемь, и возрастом, и всею доброю и мужьственною доблестью, и любовь имеяше ко всим“.⁴

Отсюда возникала возможность характеристики не только одного князя, но целой ветви княжеского дома — характеристики положительной или осудительной, в зависимости от той политической ориентации, которой придерживался летописец. Ольговичи „скори бяхуть на пролитье крови“,⁵ говорит летописец по случаю неудачной попытки примирения между Юрием Долгоруким и южными князьями. Эта характеристика как бы смыкается по приемам своего составления с народными характеристиками целых групп населения — новгородцев, владимирцев, курян, рязанцев и т. д., о которых мы скажем несколько ниже. Однако в письменной литературе ее основы другие: они в том, что, характеризуя героя своего повествования, летописец имеет в виду не его психологию, а его политику, характеризует деятельность того или иного князя, его политическую линию, его поступки, а не их психологическую подоплеку.

* * *

Характер человеческий выступает в творениях древнерусского книжника в двух аспектах: либо как он сам хотел его представить — в его авторской „системе“, либо как мы можем его реконструировать по сообщаемым им фактам — прямо и косвенно. Возможности последнего аспекта не ограничены. Реконструкция эта может быть осуществлена и на основании литературных данных, и на основании документов. Не исключена возможность привлечения данных из области археологии, истории живописи или даже истории языка. Такова, например, попытка Б. А. Романова в его книге „Люди и нравы древней Руси“ (Л., 1947) восстановить характеры некоторых людей XI—XIII веков — Даниила Заточника, Владимира Мономаха, матери Феодосия Печерского и многих других, охарактеризовать круг интересов целых социальных групп древней Руси.

Литературоведа будет интересовать по преимуществу первый аспект, историка — второй. Литературоведа будет интересовать по преимуществу литература, авторская точка зрения, историка — реальная действительность, скрывающаяся за литературным произведением подлинная человеческая личность. Однако, поскольку литература не оторвана от действительности, а, напротив, тесно с ней связана, зависит от нее, грани

¹ Ипатьевская летопись, под 1140 г., стр. 217.

² Там же, под 1195 г., стр. 461.

³ Там же, стр. 463.

⁴ Там же, под 1186 г., стр. 467.

⁵ Там же, под 1151 г., стр. 301 (то же в Лаврентьевской летописи, под 1152 г., стр. 333).

между первым и вторым аспектом не так уж велики. Было бы неправильно игнорировать в литературоведении этот второй, „исторический“ аспект. Между литературным стереотипом в изображении человека и стихийно проникающими в письменное произведение фактами реальной жизни, рисующими совсем иные, жизненно реальные характеры людей, лежало множество градаций. Летописец или автор исторической повести нередко более или менее сознательно отклонялся от идеалов феодального класса, от трафаретных приемов характеристики людей — то отдавая дань своим личным вкусам (мы это видели выше, в характеристиках Василька Константиновича и Владимира Васильковича), то оказываясь под воздействием народного творчества, то поддаваясь тем изменениям в оценке деятельности князей, которые возникали в связи с изменениями в идейных представлениях под влиянием местных особенностей социального строя. Именно на этой грани официального и неофициального рождались все отступления от господствующего трафарета, возникало то качественно новое, что, постепенно накапливаясь, двигало литературное развитие по пути к реалистическому изображению действительности.

Чем прочнее стоял писатель XI—XIII веков на идеальных позициях феодального класса, тем прочнее входил в его произведение стереотип в изображении человека, тем консервативнее был он в своих идейных и художественных позициях. Но стоило писателю отступить от этих позиций, дав волю своим личным впечатлениям, неизменно отражающим какие-то особенности в его социальной позиции, проявить личное чувство к тому или иному изображаемому им лицу — и элементы (пусть незначительные) реалистического отношения к действительности проникали в его произведение.

Впрочем, индивидуальные интересы отражаются в литературных портретах лишь случайно. Идеал поведения порождался не индивидуальными вкусами, а социальным строем. Вот почему в различных областях Руси с различной расстановкой классовых и внутриклассовых сил мы видим некоторые различия в обрисовке идеала княжеского поведения. И эти различия ведут к расшатыванию стереотипа в изображении человеческой личности.

Характерно, например, что новгородские летописи слабо отразили образы князей. Это и понятно. Идеал существовал там, где он был необходим. В политическом же устройстве Новгорода князь занимал второстепенное место.

В новгородских летописях почти нет характеристик князей. Только об Александре Невском и Мстиславе Ростиславиче говорится с какой-то особенной значительностью, позволяющей думать, что новгородцы ценили их деятельность или что князья эти пришлись по сердцу новгородцам и летописцам. В сообщении Новгородской летописи о смерти Александра Невского есть и краткая оценка его деятельности: „Дай, господи милостивый, видети ему лице твое в будущий век, иже потрулся за Новгород и за всю Русьскую землю“.¹

Плач новгородцев по Мстиславе Ростиславиче рисует идеального князя, но идеального именно в понимании новгородцев, которое чувствуется только в оттенках, не приобрело еще законченного выражения, и понятно почему: идеал князя входил в летописи из действительности, сами же князья, княжившие в Новгороде, следовали своим, общерусским идеалам княжеского поведения, и только новгородцы

¹ Новгородская первая летопись старшего и младшего извода, под 1263 г., стр. 84.

смотрели на них несколько иначе, чем в других областях Руси. Мстислав Ростиславич сотворил „толикую свободу новгородцем от поганных“, освободил их от обид. На все стороны оборонял он Новгород от поганных, „поревновал“ и „наследил путь“ деда своего, новгородского князя Мстислава Владимировича. Был он „крепок на рати, всегда бо тосняшеться умерти за Рускую землю и за хрестьяны“.¹ Он „подавал дерзость“ воинам своими речами и от всего сердца бился за свою отчину. Был он „любезнив на дружину, и имения не щадяшеть и не собирашеть злата и сребра, но даяше дружине своей“.² Русская земля не могла забыть „доблести его“, а черные клобуки „приголубления его“.³ В этой характеристике лишь осторожно отобраны те черты, которые не претили новгородцам. Образ Мстислава Ростиславича только немного повернут в их сторону. Сильнее этот „новгородский поворот“ чувствуется в Новгородской первой летописи в характеристике другого Мстислава — Мстислава Мстиславича. Этот князь уважал новгородские вольности, не вмешивался во внутренние дела Новгорода, был верен святой Софии, в которой лежало тело его отца, был храбр, понимал желания новгородцев и предоставлял им действовать во всей воле их.

Иной идеал княжеского поведения создан в верхах феодального общества Владимира Залесского. Характеристика Всеволода Большое Гнездо под 1212 годом частично повторяет характеристику Владимира Мономаха: „Сего имени токмо трепетаху вся страны и по всей земли изиде слух его... и бог покаряше под нозе его вся врагы его“. Но, кроме того, этот некролог сохраняет и особенности владимирские. В нем подчеркнута борьба Всеволода с боярством и судебная деятельность: „Судя суд истинен и нелицеприятен, не обинуяся лица сильных своих бояр, обидящих меньших и роботящих сироты и насилье творящих“.⁴ Во Владимире Залесском созрел идеал сильной княжеской власти, идеал этот впоследствии был подхвачен и развит Москвой.

В летописи под углом зрения определенного идеала создаются характеристики князей, отчасти по одной системе отбираются факты, но сами факты, непосредственно взятые из жизни, во всем их индивидуальном своеобразии, придают рассказу черты реалистичности, даже документальности. Этих черт в летописном повествовании появляется тем больше, чем менее официален летописец, чем меньше он связан задачей изобразить и истолковать события в свете определенной политической линии. И сама характеристика князя становится менее подчиненной идеалу, отражающему эту линию, если летописец говорит о князе лишь попутно, не ставя себе целью дать его обобщенный портрет.

С какой бы ясностью перед нами ни выступал стереотип в изображении человека, было бы неправильно сводить к нему всё летописное искусство в изображении людей. В летописи нет и двух князей, и двух положений, которые были бы обрисованы с полной одинаковостью. Феодальный идеал человека был прежде всего средством измерения людей, их оценки с точки зрения феодальной морали и феодальных норм поведения.

Люди, их поведение обсуждаются в основном с точки зрения того идеала, которому они должны соответствовать по своему социальному положению. Эти идеалы существуют в литературе, в летописи, но скла-

¹ Ипатьевская летопись, под 1178 г., стр. 413.

² Там же, стр. 414.

³ Там же.

⁴ Лаврентьевская летопись, под 1212 г., стр. 437.

дываются они в действительности. Нормы поведения человека в феодальном обществе отнюдь не литературного, а конкретно-жизненного происхождения. В литературу эти идеалы поведения пришли из жизни. Этим идеалам стремятся следовать сами люди. Однако литература подчиняется им далеко не в такой мере, как жизнь. Всю свою деятельность Владимир Мономах подчинял этому идеалу. Описывая свою жизнь — свои „пути“ и „ловы“, он создавал не литературный идеал, а жизненный. Он стремился создать о себе определенную славу, молву. Это стремление он, конечно, осуществлял в жизни в гораздо большей мере, чем в своих сочинениях. Этот идеал заставлял Мономаха отказываться от киевского стола, на который его приглашали киевляне, Мстислава Удалого — добровольно проститься со своею дружиною тогда именно, когда она ему была больше всего нужна,¹ Андрея Боголюбского — первым выезжать на стычки с врагом. Следуя этим идеалам, литература обращала внимание вовсе не на все стороны деятельности князей или кого-либо другого, а лишь на некоторые моменты их деятельности, особо важные для их оценки. Зависимые авторы и летописцы стремились изобразить своего князя наиболее соответствующим идеалу княжеского поведения.

И всё же летописец умел находить способы для изображения таких положений, которые с какой-то новой стороны показывали и самый идеал, и тех, кто от него отступал. Вот ослепленного Василька Тербовальского везут в телеге в бессознательном состоянии. В городе Звиждене попадая, приняв его за мертвого, сняла с него окровавленную рубашку и постирала ее. Очнувшись, Василько сказал: „Чему есте сняли с мене? Да бых в той сорочке кроваве смерть приял и стал пред богомъ“.² Летописец нашел, следовательно, такое нетрафаретное положение и вложил в уста князя такие необычные слова, которые с наибольшей силой передали ужас преступления князей, противников Василька.

Мы отметили выше, что в исторической литературе XI—XIII веков говорилось по преимуществу о деятельности тех слоев населения, которые влияли, по представлениям того времени, на ход исторических событий, — князей и духовенства.

Однако не только князья и духовенство из его высших слоев попадали в поле зрения книжника. Изображая борьбу князя за свою власть, летописец волей или неволей вынужден был говорить о боярах, оказывавших сопротивление своему князю. Рассказывая о стремлении юноши Феодосия к монашеской жизни, приходилось выводить и его мать — решительную, смелую, немного мужеподобную, с грубым голосом, драчливую, всегда готовую избить сына, заковать его в кандалы, только бы удержать около себя. Все эти персонажи сияют отраженным светом. Они выведены для оттенения главного героя. Но и через них в литературу также обильно проникают черты стихийного реализма.

Психологическая наблюдательность в житейской практике древней Руси достигала большой тонкости, как об этом свидетельствует, например, письмо Владимира Мономаха к Олегу Гориславичу. Самый повод, по которому оно написано, не обычен: Владимир Мономах пишет письмо своему врагу Олегу Святославичу, предлагая ему примирение, после того как в сражении с войсками Олега погиб его любимый сын Изяслав. Это письмо написано с большим чувством достоинства, с полным

¹ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, под 1214

² Повесть временных лет, т. 1, стр. 173.

сознанием сложности образовавшейся житейской ситуации. Оно преисполнено своеобразного лирического спокойствия, желания понять своего врага, чувством бесконечной скорби о погибшем сыне. Мономах готов понять и даже утешить убийцу своего любимого сына. При этом письмо старчески мудро и спокойно.

„Поучение“ Владимира Мономаха поражает громадным запасом психологических наблюдений, обнаруживает почти поэтическое отношение автора к жизни. Выражение этого отношения в „Поучении“ носит на себе следы влияния народной поэзии.

Именно этот источник выражения поэтического восприятия жизни выдает образ горлицы, тоскующей на высохшем дереве, который Мономах применил к вдове своего сына, прося отпустить ее к нему, чтобы оплакать вместе с ней сына, его свадьбу, ее первые радости: „А бога де ля пусти ю ко мне вборзе с первым сломь, да с нею кончав слезы, посажу на месте, и сядеть акы горлица на сусе древе желеючи, а яз утешюся о бозе“.¹

Так обычная житейская практика приводит литературу к стихийному реализму, а этот последний сближает литературу с богатейшим опытом народного творчества.

Летопись знает ряд жизненных положений, в описание которых больше всего проникали черты действительности, когда летописца привлекал не только официальный силуэт князя, но и его личная жизнь. К числу таких жизненных положений в первую очередь относится кончина князя. Последние дни и часы жизни князя летописец описывает подробно, придавая иногда значение всякой мелочи. Несомненно, что в таком отношении летописца к смерти нашли свое отражение общехристианские воззрения летописца. Однако, как бы то ни было, летописные повествования о смерти князей — самые реалистические в летописи. Таково, например, повествование о смерти Святослава Всеволодовича, где не забыты, например, такие детали. Святослав Всеволодович, предчувствуя кончину, собирался поклониться гробу отца своего в Кирилловском монастыре под Киевом, но не смог, так как поп, хранивший ключи от церкви, отлучился. Передан и его разговор на смертном ложе с женою. Святослав спрашивает „отемневшим“ языком, когда будет день святых Макавеев. Жена отвечает: „в понедельник“. Святослав же говорит своей жене, что вряд ли доживет до этого дня: „о не дождачу ми я того“.² В этом разговоре нет ничего исторически значительного. Он передан летописцем потому, что значительно было самое событие, с которым этот разговор был связан, — смерть.

Характерно также описание смерти князя Владимира Васильковича в Волынской летописи. Богатства, мудрость, речистость этого князя служат как бы контрастом его смерти, наводят на мысль о бренности всего земного. Так часто бывает в изобразительном искусстве: чтобы смерть производила впечатление настоящей смерти, нужно, чтобы и жизнь выглядела настоящей жизнью. Страницы Волынской летописи, рассказывающие о смерти Владимира Васильковича, натуралистически описывают развивающуюся болезнь (рак гортани), воспроизводят предсмертные распоряжения и переговоры, в которых принимала участие его жена — „милая Ольга“. Изумительные речи Владимира Васильковича сопровождаются живыми сценами. Так например, Владимир Василькович посылает слугу своего „доброго, верного, именем Рачьшю“

¹ Повесть временных лет, т. 1, стр. 165.

² Ипатьевская летопись, под 1194 г., стр. 457.

к брату своему Мстиславу и просит передать ему, чтобы он ничего не давал после его смерти „сыновцу“ — Юрию. Свою просьбу Владимир Василькович подкрепляет выразительным жестом: он взял из своей постели пук соломы и сказал: „Хотя бых ти, рци, брат мой, тот вехоть соломы дал, того не давай по моему животе никому же“.¹

Иногда мысль о бренности всего земного служит летописцу поводом, чтобы описать какое-нибудь из ряда вон выходящее, но не очень „официальное“ событие. Так, например, летописец приводит шутку над бесплодными устремлениями Мстислава Ярославича овладеть Галичем. Некто Илья Щепанович привел Мстислава Ярославича Немого на Галичину могилу и сказал ему: „Княже! уже еси на Галичины могиле поседел, тако и в Галиче княжил еси“.² Приводит летописец и рассказ о тщетности попыток боярина сесть на княжеский стол.³ Он подчеркивает случайность гибели Холма от пожара, вызванного неосторожностью некоей бабы.⁴ Рассказывает летописец и множество других случайностей, решавших судьбу князей: то князь пошутил и своей шуткой раскрыл заговор,⁵ то князь не был узан под чужим шлемом,⁶ то жизнь князя висела на волоске и была случайно спасена.⁷ Описывает летописец и построение города, вызванное гаданием князя по Библии.⁸ Самые унижения Даниила Галицкого в Орде служат как бы обоснованием для своеобразного исторического скептицизма летописца: „О злая честь татарская! Его же отец бе царь в Руской земли, иже покори Половецкую землю и воева на иные страны все, сын того не приа чести, то иный кто может прияти? Злобе бо их и льсти несть конца“.⁹

Несомненно, что, описывая все эти „случаи“, летописец нарушал собственную систему изложений, усиливая ими в своем повествовании черты реальности, иногда быта, и это в известной мере отражалось на изображении им действующих лиц.

* * *

Нарушался литературный стереотип изображения людей и под влиянием народного творчества.

Нет сомнений в том, что многое в характеристиках действующих лиц летописи шло от народного творчества, однако точно установить, что именно в летописных способах обрисовки людей следует отнести за счет воздействия народного творчества, нелегко, так как мы не знаем самого народного творчества XII—XIII веков. Народное творчество развивается, как и литература, меняются принципы художественного обобщения, и в XII—XIII веках они, возможно, резко отличались от современных.

Современный нам эпос XIX—XX веков представляет совершенно новый этап развития сравнительно с фольклором эпохи развитого феодализма. Главные русские богатыри обрисованы в современном эпосе не только с точки зрения их поведения, но и психологически. Поведе-

¹ Ипатьевская летопись, под 1288 г., стр. 600.

² Там же, под 1206 г., стр. 484.

³ Там же, под 1211 г., стр. 489.

⁴ Там же, под 1259 г., стр. 557.

⁵ Там же, под 1230 г., стр. 508.

⁶ Там же, под 1229 г., стр. 505.

⁷ Там же, под 1149 г., стр. 272.

⁸ Там же, под 1276 г., стр. 578.

⁹ Там же, под 1250 г., стр. 536.

ние их, их подвиги взяты не сами по себе — они производные их психологии. Алеша Попович с его лукавством и хитростью, Добрыня Никитич с его „вежеством“ и душевной тонкостью, „старый“ Илья Муромец — мудрый, рассудительный, опытный и скромный — всё это психологически обрисованные герои.

Литература феодализма также знает психологические характеристики. Они имеются в литературе церковной — переводной и оригинальной, — в житиях святых, в частности и в Киево-Печерском патерике. Однако в этой церковной литературе психология действующих лиц подчинена морали, назидательному смыслу произведения. Немногие психологические качества уловлены и преломлены в литературном произведении только через призму христианской морали. Христианство обращало литературу к психологической наблюдательности, но настолько подчиняло ее своим задачам, что светскую литературу затрагивало в очень малой степени.

Нет ни одного штриха, который позволял бы с полной уверенностью возвести некоторые элементы психологической наблюдательности светской литературы XI—XIII веков к народному эпосу. Нет уверенности и в том, что народный эпос этого времени отличался той же психологической наблюдательностью, что и современный.

Кое-что всё же в обрисовке действующих лиц летописи позволяет предполагать родство с фольклором.

К народному творчеству, очевидно, восходят в летописи и в других произведениях литературы характеристики действующих лиц по их какому-либо одному крупному деянию. Так охарактеризован, например, в Киево-Печерском патерике князь Африкан: „Князь Африкан, брат Якуна Слепого, и же отбеже от злата луды, биася полком по Ярославле с Лютым Мьстиславом“.¹

Перед нами как бы напоминание о всем известном подвиге, деянии или случае. Так характеризуются, в частности, и некоторые из действующих лиц „Слова о полку Игореве“: „...храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю предъ пѣлки касожьскими“, „...до нынѣшняго Игоря, и же истягну умъ крѣпостию своею и поостри сердца своего мужествомъ, наплѣнився ратнаго духа, наведе своя храбрыя пѣлки на землю Половѣцкую за землю Руськую“.

Замечательно, что в летописи этим способом представляются читателю многие из знаменитых половецких ханов: „...Концаку, и же снесе Сулу, пешь ходя, котел нося на плечеву“;² „...Севенча Боняковича... и же бѣшетъ рекл: «хощю сечи в Золотая ворота, яко же и отецъ мой»“;³ „...Алтуноу, и же словяше мужьством“.⁴

Напоминанием читателю о том или ином подвиге, деянии, сделавшем знаменитым действующее лицо летописи, представляются нам и рассказы начальной летописи о первых русских князьях. Эти первые русские князья — Олег, Игорь, Ольга, Владимир Святославич или Мстислав Тмутараканский — характеризуются главным образом со стороны мудрости или подвигов мужества.

Народный характер имеют и общие характеристики жителей какой-либо местности. Киевляне называли новгородцев „плотниками“.⁵ Ростовцы,

¹ Д. Абрамович. Киево-Печерський патерик. Киев, 1931, стр. 1.

² Ипатьевская летопись, под 1201 г., стр. 480.

³ Там же, под 1151 г., стр. 299.

⁴ Там же, под 1103 г., стр. 184.

⁵ Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, под 1016 г., стр. 15.

суздальцы и муромцы говорят о владимирцах: „то суть наши холопи каменъницы“.¹ Владимирцы отмечали в новгородцах их „гордость“.² Вслед за этими народными характеристиками и летописец говорит о переяславцах, что они „дерзи суще“.³

К этим же характеристикам примыкает и характеристика курян — „сведомых кметей“ в „Слове о полку Игореве“. Все эти характеристики интересны тем, что они передаются летописцем как всем известные, как народное мнение и как „слава“ о тех или иных жителях. Во всех них чувствуется опора на реальную народную молву.

Характеристика „курян“ в „Слове о полку Игореве“ по своим принципам художественного обобщения совпадает с характеристикой „воинства рязанского“ в „Повести о разорении Рязани Батыем“ — тех „удальцов и резвецов“ рязанских, из которых „един бяшеся с тысящей, а два со тмою“.⁴ И в „Слове“, и в „Повести“ перед нами характеристика воинства, в которой ни слова не говорится о феодальной верности воинов своему князю, но всё направлено только на то, чтобы выявить воинские добродетели бойцов-защитников Родины.

Характерные явления обнаруживаются в XII—XIII веках в тех же памятниках при создании образа народного героя, образа защитника Родины. Этот герой гиперболизируется в своей силе и мужестве, он как бы вырастает в размерах, его не могут одолеть враги. Однако понятие гиперболы может быть здесь применено с большими ограничениями. Впечатление гиперболы достигается тем, что на этого героя переносятся подвиги его дружины. Так, например, Всеволод Буй Тур в „Слове о полку Игореве“ прыщет на врагов стрелами, гремит о шлемы мечами харалужными, и шлемы аварские „поскепаны“ его калеными саблями. Само собой разумеется, что Всеволод прыщет на врагов стрелами своей дружины, сражается ее мечами и ее саблями: у самого Всеволода мог быть только один меч или сабля. То же перенесение подвигов дружины на князя видим мы в „Слове“ и в других случаях. Святослав Киевский „притрепел“ коварство половцев „своими сильными плъкы и харалужными мечи“; Всеволод Суздальский может „Донъ шеломы выльяти“ — не одним своим шлемом, а многими шлемами, конечно, его воинов.

Так же точно создается и образ Евпатія Коловрата в „Повести о разорении Рязани Батыем“. На Евпатия переносятся подвиги его воинов и их боевые качества. Он как бы соединяет в себе черты всего русского воинства. Он без милости сечет полки Батыевы так, что татары стали „яко пьяны или неистовы“.⁵ Когда мечи Евпатия притуплялись, он брал татарские мечи и сек ими. Опять-таки характерно это множественное число: „яко и мечи притупишася, и емля татарскыя мечи и сечаша их“.⁶ Не может быть сомнения в том, что, говоря о Евпатии, автор имел в виду не одного его, но всю его дружину. Вот почему дальше говорится: „татарове мняше, яко мертви восташа“. Речь идет именно о мертвых, о многих воскресших бойцах. Вот почему и дальше без всякого перехода говорится о полке Евпатия: полк Евпатия и сам Евпатий объединены. Благодаря этому Евпатий вырастает до богатырских размеров: он „исполин силою“, убить его удастся

¹ Лаврентьевская летопись, под 1175 г., стр. 374.

² Там же, под 1169 г., стр. 362.

³ Там же, стр. 360.

⁴ Повести о Николе Заразском. Труды ОДРА, т. VII, 1949, стр. 290—291.

⁵ Там же, стр. 293.

⁶ Там же.

татарам только с помощью „тмочисленных пороков“ — стенобитных машин.¹

Смерть Евпатия — это своеобразное рождение первого богатыря в русской литературе. Мы ясно видим, как соединяет в себе образ Евпатия качества его дружины. Силен не богатырь — сильно воинство, которое он собой воплощает. Художественное обобщение идет по пути создания собирательного образа героя, воплощающего в себе качества всех русских воинов. Путь этот, пока еще не проторенный и лишь слабо намеченный, в дальнейшем приведет литературное обобщение к явлениям типизации нового, реалистического характера. Этот путь, как мы ясно видели и в других случаях, был связан с нарушением узко классового, феодального литературного стереотипа в изображении людей.

Эти нарушения были особенно часты в изображении женщины. Женщина не занимала обычно своего места в иерархической лестнице феодальных отношений. Княгиней, княжной, боярыней, боярышней или купчихой она была по мужу или отцу. И это вносило ослабление в определенность ее классовой характеристики.

Произведения древней русской литературы отразили немногие черты характера женщины древней Руси. В больших государственных заботах древнерусским писателям нечасто приходилось обращать свой взор к дочерям, женам и матерям героев русской истории. Однако краткие и немногие строки русских светских произведений почти всегда с сочувствием и уважением пишут о женщинах. „Злая жена“, столь типичная для аскетической церковной литературы, — редкий гость в произведениях литературы светской: в летописи, в повестях воинских, посольских, исторических. Да и в тех случаях, когда она появляется в светских произведениях, как, например, в „Молении“ Даниила Заточника, она лишена всякой женственности: она „ротаста“, „челюстаста“, „старообразна“. Юные же женщины — привлекательны без исключения. С какой трогательностью пишет Владимир Мономах в письме к Олегу Святославичу о вдове убитого Олегом своего сына Изяслава; летописец вспоминает мать юного брата Мономаха, Ростислава, безвременно погибшего в Стугне. Мать Ростислава оплакивала его в Киеве, и летописец сочувствует ее горю: „И плакася по немь мати его и вси людье пожалиша си по немь повелику, уности его ради“.²

Знает древнерусская литература и героические образы русских женщин. Княгиня Мария — дочь погибшего в Орде черниговского князя Михаила и вдова замученного татарами ростовского князя Василька — немало потрудились, чтобы увековечить память обоих. По ее указанию (а может быть и при ее непосредственном участии) было составлено житие ее отца Михаила Черниговского и составлены трогательные строки о ее муже Васильке в Ростовской летописи.³

¹ Повести о Николе Заразском, стр. 294.

² Повесть временных лет, т. 1, стр. 144.

³ Благодаря тому, что портрет князя всегда был обращен к зрителю и написан для зрителя, в нем легко проглядывали те черты, которые больше всего были дороги именно для того зрителя, который выступал в роли заказчика произведения. В своде ростовской княгини Марии в характеристике ее покойного мужа — ростовского князя Василька Константиновича — ясно ощущается не только похвала, но и выражение горести утраты: „Бе же Василко лицом красен, очима светел и грозен, хоробр паче меры на ловех, сердцемь легок, до бояр ласков, никто же бо от бояр, кто ему служил и хлеб его ел, и чашю пил, и дары имал, — тот никако же у иного князя можаше быти за любовь его; излише же слугы свои любляше. Мужьство же и ум в нем живяше, правда же и истина с ним ходяста. Бе бо всему хытр и гораздо

Трогателен и прекрасен в „Повести о разорении Рязани Батыем“ образ жены рязанского князя Федора — Евпраксии. Ее муж пожертвовал жизнью, защищая в стане Батыя ее честь. Услышав о смерти мужа, Евпраксия „абие ринуся из превысокаго храма своего с сыном своим со князем Иваном на среду земли, и заразися до смерти“.¹

Скупая во всем, что касается личных чувств действующих лиц, русская летопись отмечает всё же, что суздальскому князю Всеволоду Большое Гнездо было „жаль“ своей „милой дочери“ Верхо-славы.² Всеволод дал „по ней многое множество, бес числа злата и серебра“, богато одарил сватов и, отпустив ее с великою честью, провожал ее до трех станов. „И плакася по ней отецъ и мати: занеже бе мила има и млада“.³ Не забыта летописцем и та безвестная женщина, которая, приняв ослепленного князя Василька Ростиславича Тереховльскаго за умершего, оплакала его и выстирала его окровавленную рубашку.

Описывая смерть волынского князя Владимира Васильковича, летописец не забыл упомянуть о любви его к своей жене — „милой Ольге“. Это была четвертая дочь брянского князя Романа, но была она ему „всех милее“. Роман отдал „милую свою дочь“⁴ за Владимира Васильковича, „посла с нею сына своего старейшего Михаила и бояр много“.⁵ Впоследствии ее навещает брат ее Олег.⁶ С ее помощью на смертном одре Владимир Василькович улаживает свои государственные дела, причем называет ее „княгини моа мила Олга“. Владимир и Ольга были бездетны. Предсмертные заботы Владимира направлены на то, чтобы устроить судьбу ее и их приемной дочери — Изяславы, „иже миловаша ю аки свою дщерь родимую“.⁷ Владимир Василькович разрешает своей жене поступить после его смерти как ей вздумается — жить так или идти в черницы: „Мне не воставши смотреть, что кто иметь чинити по моему животе“,⁸ — говорит он.

Нежный, задумчивый облик женщины-матери донесли до нас и произведения русской живописи XII века. В них воплощена забота женщины, ее любовь к умершему сыну. Такова, например, икона Владимирской божьей матери. Сохранились и рассказы о том, какое впечат-

умей, и поседе в доброденьствии на отни столе и дедни“ (Лаврентьевская летопись, под 1237 г., стр. 467). Этот лирический портрет, в котором внешним чертам князя придано такое большое значение, может сравниться только с портретом волынского князя Владимира Васильковича, составленным волынским летописцем, также особенно внимательным к судьбам вдовы этого князя — „милой“ Ольги. Волынский и ростовский летописцы — оба писали для вдов своих князей, оба в какой-то мере отразили их чувства. „Сий же благоверный князь Володимерь, — пишет волынский летописец, — возрастомъ бе высок, плечима великъ, лицемъ красен, волосы имея желты кудрявы, бороду стригый, руки же имея красны и ноги; речь же бяшетъ в немъ тольста и устна исподняя дебела, глаголаше ясно от книг, зане бысть философ велик, и ловець хитр, хоробр, кроток, смирен, незлобив, правдив, не мздоимецъ, не лжив, татьбы ненавидяше, питья же не пи от возраста своего. Любовь же имеяше ко всим, паче же и ко братья своей, во хрестьном же целованьи стояше со всею правдою истинною, нелицемерно“ (Ипатьевская летопись, под 1288 г., стр. 605).

¹ Труды ОДРА, т. VII, стр. 289.

² Ипатьевская летопись, под 1187 г., стр. 443.

³ Там же.

⁴ Там же, под 1264 г., стр. 569.

⁵ Там же.

⁶ Там же, под 1274 г., стр. 577.

⁷ Там же, под 1287 г., стр. 595.

⁸ Там же, под 1287 г., стр. 595. Владимир говорит об Изяславе: „Бог бо не дал ми своих родити, за мои грехы, но си ми бысть аки от своее княгине рожена, взял бо есмь ю от своее матери в пеленах и вскормил“ (стр. 593).

ление у зрителей оставляли эти произведения. Гордый князь Андрей Юрьевич Боголюбский, никогда ни перед кем не склонявший головы, смелый воин, всегда первым бросавшийся в битве на врагов, был поражен изображением Владимирской богоматери. „Сказание о чудесах Владимирской иконы“ говорит о том глубоком впечатлении, которое произвела на Андрея Боголюбского икона Владимирской богоматери. Увидев ее впервые, он пал перед нею на колени — „припаде на земли“.¹ Впоследствии все свои победы над врагами сам он и его летописец приписывали помощи этой иконы.

Во всех этих немногих упоминаниях женщина неизменно выступает в обаянии нежной заботливости, проникновенного понимания государственных тревог своих мужа и братьев. Дочь, мать или жена — она всегда помогает своему отцу, сыну или мужу, скорбит о нем, оплакивает его после смерти и никогда не склоняет его при жизни к трусости или самосохранению ценой позора. Смерть в бою с врагами она воспринимает как должное и оплакивает своих сыновей, мужа или отца, как воинов и патриотов, выполнивших свой долг, не ужасаясь и не осуждая их поведения, а с тихою ласкою и с похвалою их мужеству, их доблести. Любовь к мужу, отцу или сыну не притупляет ее любви к Родине, ненависти к врагам, уверенности в правоте дела любимого человека.

Русские женщины „Слова о полку Игореве“ воплощают в себе те же черты, которые хотя и скудно, но достаточно отчетливо донесли до нас летописи и воинские повести XII—XIII веков. Мы можем с уверенностью представить себе идеал женственности древней Руси XII—XIII веков, который будет одинаков и в летописи, и в воинских повестях, и в „Слове о полку Игореве“; только в „Слове о полку Игореве“ образ скромной, заботливой, верной и любящей женщины, достойной жены своего героя-мужа, выступает с еще бóльшей отчетливостью и бóльшим обаянием. Идеал женственности XII—XIII веков включает в себе мало классовых черт. Класс феодалов не выработал собственного идеала женственности, резко отличного от народного. Женщина и в среде феодалов была предана своим заботам жены, матери, вдовы, дочери. Большие государственные обязанности не были ее уделом. И именно это способствовало сближению женских образов — феодальных и народных. Вот почему и княгиня Ефросинья Ярославна в „Слове о полку Игореве“ представлена в образе лирической, песенной русской женщины — Ярославны.

* * *

Подведем итоги. В изображении людей литература XII—XIII веков следует идеалам, выработанным в феодальной действительности того времени. Она следует феодальным представлениям о том, каким должен быть представитель той или иной социальной ступени, какими должны быть сами феодальные отношения, и в основном сохраняет официальную точку зрения господствующего класса на всё, включаемое в литературу.

Интересы авторов сосредоточены по преимуществу на самых верхах феодального общества. Больше всего внимания авторы XII—XIII веков уделяют князьям и духовенству. Первых они изображают в церемониальных положениях — с позиций подданных; вторых — с назидатель-

¹ Сказание о чудесах Владимирской иконы божьей матери. Под ред. В. О. Ключевского. ОЛДП, вып. XXX, 1878, стр. 30.

ностью, свойственной представителям церкви. Система идеалов, отразившихся в литературе XII—XIII веков, служит укреплению феодального строя, оправданию феодальных отношений. Она условна и схематична.

Если мы присмотримся к тому, как строится в летописи образ того или иного князя, то должны будем прежде всего отметить, что образ каждого князя корректируется тем политическим идеалом княжеского поведения, который был признан летописцем. Летописец не создавал никакого нового своего идеала, а выражал те политические идеи, которые ему полагалось выражать как подданному или вассалу своего князя. Его писательская позиция определялась его служебным положением, последнее же подсказывало ему и интерпретацию событий, и образ князя. Исходя из этих своих политических представлений, летописец оценивает князей, своих современников, то хваля их и приписывая им те качества, которые они должны были бы иметь, то отрицая в них всё положительное, как у врагов своего лагеря.

Рассматривая характеристики князей в летописи, мы легко заметим, что они сотканы не столько из психологических, сколько из политических понятий. Не характер князя отражен в его характеристике, а его деятельность, его поведение, его политическое лицо.

Летописец оценивает не психологию князя, а его поведение, при этом поведение политическое в первую очередь. Его интересуют поступки князя, а не их психологическая мотивировка. Характеристика того или иного лица в летописи имеет в виду прежде всего его поведение; внутренняя жизнь интересует писателей XII—XIII веков только постольку, поскольку она внешне проявляется в поступках, в определенной линии поведения. Храбрость, мужество — это прежде всего подвиги. Нищелюбие, любовь к церкви, к боярам, к дружине — это прежде всего поступки — поступки щедрости по преимуществу. Летописец не случайно пишет о том, что князь „показал мужество свое“, „много пота утер с дружиною своею за Русскую землю“, „братолюбием светился“ или „славился“ своими делами, нагнал страх на врагов, „прослыл“ в победах и т. д. Внешний эффект поведения князя, „величавого на ратный чин“, интересует летописца больше всего. Нет добрых качеств князя без их общественного признания, ибо самые эти качества неразрывно связаны с их внешними постоянными проявлениями. Вот почему средневековый писатель не знает конфликта между тем, каким на самом деле является тот или иной князь, и тем, каким он представляется окружающим. Доброму князю сопутствует добрая слава, дурному — дурная. Вот почему писатели XII—XIII веков так часто и так много говорят о славе князя, о его общественном признании. Вот также почему литературный портрет князя всегда официален. Князь предстает перед читателем в одеянии своих действий. Он почти не раскрывается в своем внутреннем содержании. Летописец никогда не вступает в интимное общение с героем своего повествования, не входит в психологическое объяснение его поступков. Летописец — подданный и пишет о своем князе как подданный. Только о враге он пишет, что он совершил тот или иной поступок, движимый злобой, завистью, жадностью или гордостью (ассортимент психологических качеств и здесь не велик, анализ не сложен) или побуждаемый к тому злым советчиком, послушавшись его дурного совета, дьяволом наученный или дьяволом соблазненный.

Следовательно, летописец не потому так скуп на психологические определения, что психология раскрыта для него только в самых общих

своих основах и то по преимуществу через христианскую литературу (зависть, злоба, гордость и пр. — это всё по преимуществу христианский аспект человеческой психологии), а потому, что летописец официален, несет свои обязанности писателя как своеобразную феодальную службу, пишет то, что ему следует писать по своему служебному положению, и сохраняет основательную дистанцию между собой и своим патроном. Писательский труд не стал еще первой обязанностью писателя, не придал ему хотя бы внешней независимости. Писатель сам осознавал себя прежде всего слугой князя и, не скрывая от себя, выполнял свой долг слуги, подчиненного или вассала.

Созданный феодальным классом светский идеал поведения феодала был вполне оригинален, точно разработан и по-своему впечатляющ. Рядом с ним заметны следы и другого идеала человеческого поведения — идеала народного, подлинно гуманистического и подлинно самобытного. Однако подчиненная феодалам литература с трудом позволяет судить о нем. Изыскания фольклористов позволяют, очевидно, ближе подойти к этому идеалу.

Так обстоит дело с системой, которую применяют к изображению людей авторы средневековья; если же приглядеться к исключениям из этой системы, то в них всюду заметно стихийное проникновение в литературу элементов реалистичности, точное следование натуре, действительности, появление в литературе любовно наблюдаемого и любовно переданного. Система — идеалистична, исключения из нее — стихийно материалистичны. Последним принадлежит будущее. Жизнь побеждает схему, элементы реалистичности — идеалистическую систему.

В этом разрушении феодальных представлений о личности только как об элементе феодальных отношений огромная роль принадлежала, как мы уже сказали об этом выше, народному творчеству.

Разрушению этому способствовало и то обстоятельство, что литература XI—XVI веков не знала вымышленного героя. Все действующие лица русских оригинальных произведений — действительно жили, а не созданы только художественным воображением. Черты действительности могли поэтому особенно легко проникать в литературу. Реальные факты биографии способствовали сохранению реальных черт характера и препятствовали полному подчинению изображаемых лиц феодальному идеалу.

Однако переход от стихийного проникновения в литературу действительности к первым шагам ее нового, сознательного восприятия совершится не скоро: новое отношение к человеческой личности станет осознаваться самими авторами только с конца XVI—начала XVII веков. Это время, когда в литературе появятся первые изображения элементов человеческого характера.¹

В течение пяти столетий в русской литературе идет борьба проникающих в нее снизу реалистических элементов с идеалистической литературной системой. Система нарушается и вновь восстанавливается на новой основе. Неподвижная и инертная по самой своей сути, она тем не менее искусственно поддерживается извне — официальной идеологией класса феодалов и его потребностями, различными на различных этапах исторического развития. Однако реалистические элементы проникают в литературу всё интенсивнее, пока не начинают осозна-

¹ См. об этом: Д. Лихачев. Проблема характера в исторических произведениях начала XVII в. Труды ОДРЛ, т. VIII, 1951.

ваться как явления нового и положительного характера и пока они не находят себе уже в XVII веке своего настоящего проводника — демократические слои населения. Все нарушения системы более или менее связаны с нарушениями официальной точки зрения господствующего класса. Следовательно, литература движется вперед этими нарушениями. Ее развивает в конечном счете народ, хотя участие народа в развитии литературы кажется очень незначительным, внешне незаметно, с трудом определимо, скрыто под поверхностью, на которой массивно громоздятся застывшие формы системы, выработанной господствующим классом.
